Доктор велел мадеру пить...

Павел Валентинович Катаев

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Имя писателя Валентина Катаева известно с детства почти каждому читателю. Его творческий путь был долгим и плодотворным. И сам он, и его произведения давно стали предметом пристального внимания и изучения исследователей. Но настоящая книга особенная. Это воспоминания сына об отце, о его жизни, как он ее себе представляет, о творческих поисках отца, о времени и людях из его окружения.

Написанная с любовью и юмором, эта книга расскажет много нового почитателям творчества писателя.

•

Павел КАТАЕВ

...и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.

Евангелие от Луки.

ДОКТОР ВЕЛЕЛ МАДЕРУ ПИТЬ

Мой отец писатель Валентин Петрович Катаев умер 12 апреля 1986 года в Москве в возрасте восьмидесяти девяти лет...

Не он, разумеется, выбрал дату своей смерти, но жизнь завершена, и цифры, стоящие на пороге черты, отделяющей живую судьбу от посмертной, как шифр несут в себе всю полную информацию о состоянии мира...

Меня до сих пор не оставляет впечатление, что его смерть, совпавшая с тремя важнейшими событиями завершающегося века и тысячелетия, сама по себе стала историческим событием и вовсе не потому, что из жизни ушел такой-то и такой-то выдающийся писатель, а потому, что захлопнулась дверь за целой эпохой в истории страны и народа. А возможно и мира.

События такие.

Во первых, 12 апреля празднуется День Космонавтики, ибо в этот день а космосе оказался первый человек, Юрий Гагарин. Ощущение праздника возникает в этот день у человека не по обязанности считать это событие праздником, а в силу других причин, более важных и глубоких. Это праздник не представителей какой-то страны, а человека - обитателя планеты Земля.

Горечь того памятного мне апрельского дня, когда позвонили из больницы, чтобы сообщить о кончине отца, вовсе не отменяла и не перечеркивала всенародный праздник, но навсегда сохранилась в нем...

Во-вторых, в те же приблизительно дни 1986 года, и двух недель не прошло, страна и мир узнали о ядерной катастрофе в Чернобыле и начинали осознавать все значение этой небывалой аварии на атомной станции.

И, наконец, в-третьих, именно к этому времени делается очевидной полная невозможность существования ни советского строя, ни такого несусветного коммунистического образования, каким в течение более чем семи десятилетий был Советский Союз.

Остается лишь наблюдать их неотвратимое разрушение и молить Бога, чтобы обезумевшие функционеры свою агонию не сделали гибельной для миллионов и миллионов людей.

Отметим, главные преступники (оценка субъективная, ибо такой правовой оценки они не получили) исподволь подготовили для себя пути к отступлению, что позволило им моментально интегрироваться в новые условия, и поэтому их агония была хорошо спланирована и безопасна (деньги партии и все такое прочее).

Таков был фон времени при завершении земной жизни моего отца.

В глазах публики писатель из живого человека, частного лица, превращается в литературный персонаж, в литературного героя, чьи поступки трактуются не по законам жизни. а по законам литературы. А ведь писатель в первую очередь - человек, простой человек, и именно это заставляет заинтересоваться его творчеством истинных ценителей литературы.

Пусть же вышеприведенные соображения и замечания явятся предисловием к последующему тексту.

Приступая к написанию своих заметок, я сознательно отказался от составления предварительного плана, целиком полагаясь на то, что одно воспоминание "потащит" за собой другое, третье и так далее, и так далее, и возникнут картины, которые сидели где-то в глубинах подсознания, но которые при этом являются более значительными, чем плавающие на поверхности памяти.

Тем более, что "поверхностным" воспоминаниям под воздействием внешних сил свойственно изменятся и искажаться, порой превращаясь в неправду.

Отец как-то рассказал о своем разговоре с Марией Павловной, сестрой Антона Павловича Чехова. Кажется, встреча эта состоялась в купе железнодорожного вагона по пути в Таганрог, на родину писателя, где должен был праздноваться очередной юбилей Чехова.

В этом же "мероприятии" в числе других актеров Московского художественного театра принимала участие и жена Антона Павловича Книппер - Чехова.

Но это - к слову.

Отец спросил сестру Чехова, как Антон Павлович писал. Ему было интересно узнать от близкого человека, очевидца, как выглядел работающий Чехов.

И Мария Павловна рассказала такую историю.

В Москве они жили в доме, который назывался "шкафом" (или "комодом"). Этот дом и поныне существует и находится на Садовом кольце неподалеку от площади восстания напротив Планетария.

Сейчас в нем музей Чехова.

Как-то брат с сестрой договорились идти в театр.

И вот наступает вечер, пора собираться, а Антоша, как называла его сестра, все сидит в своей комнате на втором этаже и не показывается.

Мария Павловна поднялась по крутой лестнице наверх, заглянула в кабинет, чтобы позвать брата, а тот сидит за своим письменным столом и быстро, быстро пишет.

- Антоша, в театр опоздаем!

- Подожди, Маша, подожди...

Повернулся лицом, рассказывает Мария Павловна, смотрит на меня, но не видит. Все мысли где-то там, далеко-далеко...

Эту историю можно прочесть в папиных заметках о Чехове. Я же позволил себе пересказать ее, потому что навсегда запомнил, как именно отец ее рассказывал, как протягивал руку в сторону, словно бы повторяя жест Чехова и как закрывал глаза, поднимая слепое лицо к небу.

Рассказывая о Чехове, он тем самым рассказывал о себе, о своем состоянии в моменты творчества.

Кстати сказать, мне очень хорошо знакомо это его выражение лица, и этот его слепой взгляд, направленный куда-то в другие миры. Катаев не уставал повторять, что за письменным столом полностью отрывается от действительности и его воображением владеет бессознательное.

Проще говоря, высшие силы водят его пером.

Теперь дальше.

Отец мечтал провести своих близких по тем местам, по которым его самого водила собственная судьба.

Первая из таких экскурсий - поездка в Одессу, город папиного детства.

В гостиницу, где мы остановились, пришел папин гимназический товарищ. Папа называл его "Боря Дмитриев".

Для папы он, естественно, был Борей, мальчиком-гимназистом, отличником, гордостью класса, а для меня - довольно-таки пожилым чудаковатым человеком, с веселыми глазами, который очень живо откликался на любой вопрос родителей.

Причем, как откликался?

Не словами, не репликами, а именно своими веселыми глазами - прищуривая их, блестя ими, поводя из стороны в сторону. Произносимых при этом слов я и не запомнил, будто бы он вообще молчал, а только весело поглядывал.

Впрочем, одну фразу я помню.

Разговор зашел о еде, и папа упомянул свою любимую скумбрию горячего копчения.

Не холодного, а горячего. Именно горячего!

"Боря Дмитриев" довольно кисло к этому отнесся, сказав, что он вообще не ест скумбрию.

- Почему? - участливо спросил папа. - Ты что, диетик?

- Нет, я еще не идиотик! - сострил Боря Дмитриев и сам же засмеялся своей шутке...

Еще в Москве, до поездки в Одессу, мы уже знали, что в городе папиного детства находятся катакомбы. Отец рассказал нам историю их происхождения.

Они появились давным давно, еще в те времена, когда город только начинал строиться и в качестве строительного материала использовался ракушечник - мягкий, песочного цвета, легкий для обработки камень. Пласт ракушечника нарезался на довольно таки большие кубики, из которых как из кирпича складывались городские здания.

Поначалу ракушечник добывали на поверхности, но постепенно выработки уходили все глубже и глубже под землю, и в результате образовались длинные штольни, тоннели.

Во время Великой отечественной войны в одесских катакомбах базировался партизанский отряд, оказывавший сопротивление оккупантам.

В Одессе отцу уже удалось побывать в сорок четвертом году сразу же после освобождения города от немецкой оккупации. Он встречался с оставшимися в живых подпольщиками, знакомился с архивными материалами.

В результате той поездки был написан очерк "Одесские катакомбы".

Но главное, у него появился замысел романа об истории одесского партизанского отряда, действующего на территории, захваченной врагом.

Отец был очень увлечен этим своим замыслом

Он уже вовсю работал над романом, и у него возникли какие-то вопросы, неясности, которые необходимо было разрешить. И вот теперь собирался еще раз побывать в катакомбах, а заодно и нам их показать.

Мне не повезло.

Накануне мы выходили на баркасе в море за скумбрией, штормило, и я сильно простудился, у меня заболело горло, поднялась температура и меня не взяли на экскурсию. Оставили в гостинице.

У моей сестры Жени катакомбы, насколько я понял, не вызвали восторга. Она безо всякого энтузиазма вспоминала о мрачной пещере со столом из грубо отесанного камня-ракушечника и с керосиновой лампой, сделанной из гильзы от артиллерийского снаряда.

На всех предметах лежал довольно толстый слой пыли.

Да и мама особенно не высказывалась, хотя я заметил, что она была грустная и даже подавленная.

Уже потом, много лет спустя, мама призналась, что ее буквально охватил ужас, когда за увиденной скучной обыденностью пещеры, откуда расходились низкие черные штольни, проступила та, недавняя, действительность.

Она поставила себя на место несчастных, которые вынуждены были там находиться изо дня в день, из месяца в месяц, чуть ли ни годы.

Что же касается папы, то этого короткого посещения ему оказалось достаточным, чтобы "добрать" последние детали, последние впечатления для завершения работы над романом "За власть советов".

Для нас же катакомбы явились лишь незначительным дополнением ко всей великолепной поездке на папину родину: и в город его детства Одессу, и в те места на побережье Черного моря, куда летом на каникулы вывозил двух своих сынов - старшего Валю и младшего Женю учитель гимназии и вдовец Петр Васильевич Катаев.

А до этого мальчик Валя приезжал сюда и с мамой, и с папой - мама еще была жива, а братика Жени еще не было на свете...

Очень хорошо помню бесконечно длинный песчаный пляж

под высоким, отвесным и таким же бесконечным обрывом, ветер, разбушевавшееся море, пена над косыми волнами, которые назывались "барашки" и которые действительно можно было принять за бесконечно большое, несчетное стадо барашков, разбредшихся по всей бесконечной поверхности моря - где-то густо синего, а где-то желтого, почти бурого от взбаламученного песка.

Это были Будаки.

Мы побывали в древней крепости Аккерман, переименованной в Белгород-днестровский.

Эту крепость взяли в свое время войска, ведомые Александром Васильевичем Суворовым, и у меня, помнится, вызвал недоумение, недовольство, даже разочарование запущенный вид этой крепости, полусгнившие балки, осыпавшиеся дыры, открывающие какие-то неряшливые подземные сооружения, обрывки ржавых цепей.

Вся эта разруха не вязалась с представлениями о героических сражениях и победах, а воспринималась, как обычная привычная бесхозяйственность. (Разумеется, этими словами я только теперь могу выразить свои тогдашние впечатления, но по суть они были именно такими).

Аккерман находился на противоположной стороне широкого и плоского, как равнина, Днестровского лимана, и добирались мы да крепости на баркасе.

Там, где лиман впадал в Черное море, вода была не синяя, а бурая, грязно салатная, вспененная ветром, и где-то вдали чуть заметно двигалась лодка под наклонившимся от ветра парусом, шаланда, как подсказал папа, и я сразу же вспомнил странную, волнующую картину, живописное полотно, висевшее в папином кабинете.

На полотне была изображена точно такого же цвета водная поверхность, серый волнолом, мелкие суденышки, на мачтах которых трепыхались цветные флажки.

Конечно же они были неподвижны, но душа не могла и не желала с этой неподвижностью мириться.

Сквозь чудовищную толщу прошедших лет вспоминаю реплики, которыми обменялись родители.

- Валя, это же Марке! - воскликнула мама, стараясь перекричать ветер.

- А я что говорил! - ответил папа, и родители засмеялись.

Они смотрели в море и смеялись...

Что же касается упомянутой картины, то речь идет о копии с полотна великого французского пост импрессиониста Альбера

Марке, подлинник же этой знаменитой работы находится в Москве, в Пушкинском музее изобразительного искусства.

Там отец и увидел этот шедевр впервые

Он рассказал, а точнее выражаясь, много раз рассказывал историю картины, висевшей в его кабинете.

Дело было так.

Увидев эту картину в Пушкинском музее, отец сразу же вспомнил хорошо знакомый с детства, родной морской пейзаж. Не исключено, что именно морской пейзаж французского живописца дал творческий толчок к началу работы над повестью "Белеет парус одинокий".

Отец попросил своего хорошего знакомого, художника N написать ему копию картины великого француза. Тот согласился и, отправившись в музей, за несколько дней сделал копию.

Художник этот был, кстати сказать, выдающимся копиистом и выполнил работу великолепно. Более того. Прибегнув к хитрости, то есть работая на холсте большего размера, чем оригинал, он нарушил правила (а может быть и закон) и сделал копию, что называется, один в один.

Уточню. Копия может быть или меньше или больше оригинала, но никак не того же размера. Художник N на холсте большего размера написал копию абсолютно того же размера, что оригинал...

Так у отца появилась в доме любимая картина.

В середине тридцатых годов, написав "Белеет парус одинокий" и готовя рукопись к публикации, отец решил в качества эпиграфа к повести использовать не цитату, как принято в таких случаях, а произведение живописи, то есть "процитировать" картину, поместив перед текстом художественную репродукцию.

У отца сохранилось первое, "госиздатовское" издание "Паруса" - небольшой салатного цвета томик в твердой обложке, где после форзаца шла белая глянцевая страница с небольшой цветной репродукцией названной картины Марке.

Но и это не все.

История имела продолжение.

В конце тридцатых годов в Москву приехал Альбер Марке, и отец пригласил его на обед.

Следует сказать, что познакомились они в тридцать первом году в Париже, куда отец приезжал в связи с выходом в издательстве Галлимара романа "Растратчики".

Добавлю, что тогда же, в Париже, отец заканчивал своей новый роман "Время, вперед!", причем вполне в своем духе (модерниста и авангардиста), а именно - писал первую главу,

которая, как значится в романе, временно пропускалась.

Следует заметить, что роман "Время, вперед!" до сих пор оказывает сильное влияние на современных молодых писателей, которые может быть даже сами себе не отдают в этом отчета.

Во всяком случае мне как-то бросился в глаза в одном из талантливых и безусловно модерновых текстов не загримированную перекличку с "первой главой, которая временно пропускается"...

Отец воспользовался своим пребыванием в Париже, чтобы посетить мастерскую и познакомиться с любимым художником, а тому понравился молодой русский писатель, взгляды которого на искусство во многом совпадали с его собственными.

И вот в Москве, в нашей квартире в Лаврушинском переулке, увидев на стене знакомую картину, Марке страшно удивился.

- Как вам удалось ее купить? - воскликнул он. - Она же очень дорогая!

Он не мог поверить, что это не оригинал, а копия, пока, наконец, не обратил внимание на некоторую неточность - облако в правом верхнем углу было не вполне той формы.

Кроме того, копия не была подписана.

- Если эту копию так трудно отличить от оригинала - подпишите ее, - предложил отец, и Марке с радостью согласился.

Но как это осуществить?

Произошла заминка, но выход из положения был найден.

Отец рассказал, что от Ильфов, которые жили в соседнем подъезде, принесли кисть и масленые краски, - вдова Ильи Арнольдовича Мария Николаевна была художницей, - и Марке оставил на холсте свою знаменитую закорючку.

Итак, еще одно из географических мест, где какую-то часть своей жизни провел отец, сделалось нам известным, и с тех пор Днестровский лиман навсегда поселился в моей памяти и душе...

Впрочем, это касается не только лимана, или, скажем, крепости Аккерман, или местечка Будаки, или волшебного виноградника, где мы с Женей жадно поедали крупные полупрозрачные шарики не очень породистого и не очень сладкого винограда, но зато сорванные своими собственными руками с настоящих виноградных лоз.

Кроме виноградника в этом хозяйстве занимались разведением шелкопрядов, то ли парных, то ли не парных.

Я запомнил, с каким интересом отец отнесся к рассказу о шелкопрядах, как внимательно рассматривал коконы, каким-то чудесным образом расположившиеся на сухих ветвях с полу объеденной листвой.

Папино лицо было воодушевлено, потом я много раз, можно сказать, постоянно видел на его лице такое выражение глубокого интереса и одновременно открытого удовольствия.

Речь, правда, уже шла не о шелкопрядах, а о других вещах - о цветах, например, или о стихах.

Там же мы увидели огромную шелковицу, усыпанную огромными, до черноты спелыми плодами, формой чем-то напоминающими хорошо нам знакомую по Подмосковью малину.

Опавшие комочки на земле под деревом словно бы кровоточили.

Папа рассказывал нам о шелковице, о сильно пачкающихся ягодах, но всем своим видом показывал, что эти плоды не являются его любимыми.

"Вы, мол, наслаждайтесь, если нравится, а я воздержусь".

Почему я об этом рассказываю?

Дело в том, что папа был скорее дегустатором, чем просто потребителем. Он не ел, а пробовал и оценивал.

Конечно же не всегда это проявлялось, но это присутствовало в его натуре.

Помимо Бори Дмитриева мы в тот приезд встретились еще с тетей Тасей, Татьяной Ермиловной Запорожченко, младшей сестрой папиного друга детства "Женьки" Запорожченко, с которым они познакомились в незапамятные времена, чуть ли не в первые годы двадцатого века, потому что жили поблизости друг от друга в одном удивительном районе Одессы, который называется Отрадой.

Учились они в разных учебных заведениях: папа в гимназии, а Женя Запорожченко - в реальном училище. Но свободное время проводили вместе.

Насколько я понимаю, ни тот, ни другой не были "фанатами" образования.

Хорошо бы описать тетю Тасю - ее внешность, выражение ее лица, ее одежду, манеру речи, как все это изменялось с течением времени. А заодно и описать улицу Уютную или улицу Тихую в Отраде...

Но, увы, мне это не под силу.

Рассказываю об этом потому, что вдруг увидел папу совсем, совсем другим, незнакомым, обитателем совсем другого мира, мира его детства, которого уже вроде бы и не было, но который в то же самое время продолжал существовать и в который отцу каким-то чудом удалось ввести нас, его детей.

Хотя речь идет об ощущениях сугубо личных, интимных, касающихся, казалось бы, лишь меня одного, я употребляю

множественное число, имея в виду себя и мою сестру Женю.

Тогда в Одессе мы не застали Евгения Ермиловича - друга папиного детства "Женьку Запорожченко".

Он тогда еще не вернулся из своего затянувшегося рейса, начавшегося много, много лет назад, в году, кажется, восемнадцатом, на грузовом пароходе российского добровольного флота, где он проходил практику. В России произошла революция, команда, в том числе и молодой практикант, решили не возвращаться, остались в эмиграции...

Война настигла его во Франции, он участвовал в Сопротивлении, заслужил тем самым прощение у Советской власти, и находился на полпути к возвращению на родину, то есть из Франции перебрался в оккупированную часть Германии, в ГДР, где и ждал окончательно разрешения своей дальнейшей судьбы.

Ему удалось вернулся в Одессу, в свой дом в Отраде, на улицу Уютная, 7, и со временем даже превратился в Одесскую достопримечательность, не только потому, что рассказывал приезжим (главным образом иностранным студентам, изучающим творчество отца) о своем друге знаменитом одессите Валентине Катаеве, но и занимался историей родного города, его улиц и зданий, а так же являл собой привлекательную фигуру вечного мальчика в потрепанной одежде, яхтсмена и ярого пропагандиста нового, только лишь тогда появившегося в нашей социалистической стране вида водного спорта - серфинга.

Тогда, во время первого посещения Одессы, мы узнали от отца об истории города, о его удивительных достопримечательностях, например, о довольно большом куске Пушкинской улицы, замощенной черными прямоугольными кирпичиками.

- Это сделано из лавы, - объяснял отец.

Чувствовалось, что он гордится старыми платаны на той же Пушкинской улице, с голыми, пятнистыми стволами, широкими кронами и толстыми листьями.

Отцу хотелось остановиться в Лондонской, его любимой одесской гостинице на Приморском бульваре, но не удалось: гостиница, кажется, была тогда закрыта на ремонт.

Мы прошлись по Приморскому бульвару с теми же платанами, с бюстом Пушкина на высоком постаменте с впаянным в него ядром (это тоже целая история!), с вычурным шикарным подъездом Лондонской гостиницы, полюбовались Воронцовским дворец за ажурной чугунной оградой, постояли у подножия памятника основателю Одессы дюку де Ришелье в длинных словно бы римских одеждах и свитком в руке (видимо,

планом созданного им города), стоящего над знаменитой лестницей, от его ног спускающейся к порту.

А под балюстрадой, на крутом склоне - сад с кривыми дорожками, фонарями и мусорными урнами.

Тогда впервые я услышал странное и волнующее название - "Луна-парк", нечто таинственное и может быть даже запретное из далекого, далекого мира папиного детства.

Из того далекого времени был и фуникулер. Тогда он тоже, кажется, не действовал - последствия войны...

Когда мы, гуляя по городу, подошли к зданию Оперного театра, отец вспомнил об одном из посещений театра в своем далеком детстве. Петр Васильевич Катаев, преподаватель истории и географии женского епархиального училища, часто водил двух своих сыновей - старшего Валентина и младшего Евгения - в театр.

В антракте Петр Васильевич купил в буфете коробку шоколадных конфет и передал ее маленькому Жене, чтобы тот угостил соседей.

Маленький Женя послушно протягивал распахнутую коробку и вежливо спрашивал:

- Может быть вы не хотите конфету?

Меня смущает, что в книге об отце, заняв несколько страниц рассказом об Одессе, его родном городе, я ничего - или почти ничего - не говорю о нем самом.

Но я понимаю так же, что это вовсе не пустые разговоры о знаменитом городе, его топографии и его исторических памятниках. Ведь все эти волнующие душу и воображение картины мы с сестрой получали, можно сказать, из папиных рук с абсолютным доверием и благодарностью.

Отец родился в этом городе в конце прошлого - нет! уже позапрошлого - века в разгар зимы, что было совершенно невозможно вообразить в разгар лета, когда он привел нас к дому, где он появился на свет.

Здесь же через шесть лет родился папин брат Женя, тот самый, что сейчас в различных энциклопедиях и справочниках значится как Евгений Петрович Петров (Катаев), один из авторов романов "Двенадцати стульев" и "Золотого теленка", написанных им совместно с Ильей Арнольдовичем Ильфом (Файнзильбергом), так же рожденным в Одессе.

Как эта улица называется сейчас - не знаю, как она называлась в то время, когда мы там оказались с отцом - не помню, но в папином детстве она была Базарной - знойная и одновременно тенистая одесская улица с каменными двух-трех этажными домами, с ажурными балкончиками...

Мы с сестрой остались внизу, на тротуаре, а папа и мама, какие-то вдруг изменившиеся, может быть даже ставшие нам немного чужими, помолодевшие и взволнованные, скрылись в темном подъезде.

Через некоторое время за нами спустилась мама и повела по узкой лестнице на второй этаж к распахнутой двери "папиной" квартиры - тесноватой, бедно обставленной, но словно бы наполненной каким-то странным, печальным и волшебным воздухом папиного детства.

Ничего конкретнее сказать не могу...

Теперь-то я понимаю, что мы с сестрой присутствовали при историческом событии - посещении нашим отцом своего первого на этом свете жилища.

Понятно в каком смысле "историческое событие" - для истории нашей семьи.

У меня сложилось впечатление, что отец не бывал в этом доме с тех пор, как его семья переехала в другую квартиру, а потом и в третью.

И нашей маме он тоже не показывал ее. Хотя еще до войны "возил" маму в свой родной город. Не показывал вовсе не потому, что не хотел, а просто напросто такое посещение не складывалось.

Ведь это же не экскурсия в музей - выкроил время, купил билет и пошел. Это погружение в собственную жизнь, ту ее часть, которая уже безвозвратно прошла и осталась только лишь в душе.

И больше нигде.

И тогда душа не была готова к этому.

Впрочем, может быть, это мои домыслы.

Хотя, с другой стороны, вся эта книжка - мои сплошные домыслы...

Однажды поздней осенью, гуляя по Переделкину и разговаривая об Одессе, мы с отцом поспорили, в каком месте Пироговская улица врезается во Французский бульвар - перед Отрадой или за ней.

Уверен, одессит поднимет на смех любого, кто только лишь подумает поспорить на эту тему. Ведь топография родного города - это святое, и она прекрасно всем известна.

Всем да не всем!

Я сказал "поспорили", в действительности же никакого спора не было.

Выслушав мое утверждение, папа несколько секунд молчал, пытаясь понять, чем я руководствуюсь в своей уверенности, и сказал:

- Поехали, проверим.
- В Одессу?
- В Одессу.
- Когда?
- Сейчас.

И мы поехали.

И вот мы уже идем не по переделкинской улице, а по Одесской улице Пироговской в сторону Французского бульвара, который тогда, в шестидесятые (или семидесятые) советские годы назывался проспектом Дзержинского.

Само собой разумеется, еще не добравшись до конца, я уже прекрасно осознал свою чудовищную ошибку, заключающуюся не в том, что плохо разбирался в топографии города, а в том, что посмел вступить в спор со знающим человеком, вместо того, чтобы просто напросто усвоить правильное, а неправильное выкинуть из своей пустой головы.

Ах, как было бы здорово уметь поступать именно так!

Впрочем, честно говоря, никакого особого раскаяния я тогда не испытал. Так, легкая неловкость, да и то на какую-то секунду.

А вообще это было ощущение радости и праздника - шагать пасмурным осенним почти уже зимним деньком по безлюдной улице южного приморского города, поеживаясь от озноба, и слушая рассказы отца о том, как он по этой же улице плелся на уроки в свою Пятую гимназию.

Не всегда плелся.

Иногда с радостью и нетерпением бежал, почти летел.

Например, когда в "Одесском листке" первый раз в жизни было опубликовано его стихотворение.

Боюсь ошибиться, но кажется мой отец, гимназист Валя Катаев, газетную страницу со своим стихотворением прислонил к стеклянной двери класса, чтобы это произведение в коридоре мог прочитать любой желающий.

Вообще-то, гимназистам было запрещено печататься в газетах, но какое это имело значение!

Где же гимназия?

Она должна быть где-то здесь, рядом.

Да вот же она!

Мы вошли в полутемный просторный вестибюль, оттуда по мраморной лестнице поднялись на второй этаж и оказались в длинном широком коридоре: с одной стороны - окна, с другой - двери в классные комнаты.

На стенах, кажется, висели какие-то учебные плакаты, диаграммы.

Это красивое здание Одесской пятой гимназии давно уже занимает сельскохозяйственный техникум, и там уже ничего не осталось от гимназии, кроме, латаных - перелатанных спортивных матов и старинных снарядов в сумрачном гимнастическом зале.

Нам никто не встретился, словно бы это здание покинуто навсегда, и уже никогда никого здесь не будет, и некому задать вопрос, и не у кого получить ответ.

- Никого, - только и проговорил отец, когда мы вышли из гулкого вестибюля на безлюдную Пироговскую улицу и продолжили свой путь к Отраде.

Меня не оставляло какое-то очень странное, сильное чувство - то ли недоумения, то ли разочарования, и я долго не мог понять, в чем же дело. А дело заключалось в том, что мне, как "в терем тот высокий", не было ходу в тот навсегда исчезнувший мир, который для отца был вполне достижим и реален.

Мы шагали рядом по неширокому тротуару, задевая друг друга локтями, обмениваясь замечаниями, и это безусловно подтверждало то, что мы находимся в одном и том же месте в одно и то же время.

В действительности же, одновременно с этим - настоящим - временем отец был там, в давно прошедшем и исчезнувшем...

То, что для меня было холодным и необитаемым, для него было теплокровным, населенным учителями и гимназистами, низким страхом за не выученный урок или же упоением и гордостью за лихо переведенное с древне греческого стихотворение Горация.

Наверное именно тогда, в тот день для меня забрезжило понимание задачи, которую отец пытался решить своим творчеством - поднять из немыслимых глубин его навеки исчезнувшую Атлантиду.

Году этак в сорок девятом отец решил осуществить романтический замысел - на только что купленной новой машине марки "Победа" (белый кабриолет с парусиновым открывающимся верхом), к выпуску которого тогда приступили на автомобильном заводе в городе Горьком (вместо довоенной эмки), всем колхозом, то есть с женой, тремя детьми - дочерью, сыном и племянницей - и шофером отправиться на Юг, в Крым, в Коктебель, по только что открывшейся новой автомобильной трассе Москва - Симферополь.

За несколько месяцев до путешествия, в конце длинной московской зимы, отец поделился с нами этой безумной идеей. Она казалась столь прекрасной, что не могла стать реальностью.

Однако же стала!

Трое взрослых и трое детей в одной машине - не слабо!

Подробно об этом путешествии - в очерке отца "Поездка на юг".

Собственно говоря, вся жизнь отца в той или иной степени нашла отражение в его творчестве.

Это вообще свойство любого художника, в каком бы жанре или в каком бы виде искусства он ни существовал. И как бы сознательно (или бессознательно) он это не затушевывал.

Автомобиль "Победа, " битком набитый пассажирами и вещами, остановился в знойное предвечерье на тенистой улочке у дверей той харьковской гостиницы, где в течение нескольких месяцев в начале двадцатых годов жил отец, работая корреспондентом ЮГРОСТы.

Харьков.

Из той детской поездки остались в памяти мост через невнятную речку, пыльная городская зелень, каменные серые дома, витрины, вывески на украинском языке, смешные на мой русский взгляд.

- Перукарня. А что это значит?

- Парикмахерская, - отвечал отец.

И еще какое-то название всех нас, москалей, насмешило, но уже не помню какое.

Входная дверь харьковской гостиницы вращалась, присутствовал швейцар в фуражке.

Гостиница казалась шикарной и отчасти таинственной, и первое впечатление было почему-то столь сильным, что признаки некоторой обшарпанности и даже, как это ни странно, ветхости никак не могли его перешибить.

Даже запах в гостиничных коридорах, застланных коврами, темных и длинных, какой-то полу тухлый, затхлый оставался сам по себе, а впечатление о ничем не подтвержденной роскоши - само по себе.

Всем своим существом я понимал, что гостиница с ее странным антуражем связана с отцом, его биографией и даже судьбой.

Потом, с течением жизни, гостиница эта, пустая и незнакомая, даже на первых порах лишенная в моем представлении души, наполнилась персонажами, о которых, вспоминая прошлое, рассказывал мне отец.

Не скромнее было бы сказать просто - "рассказывал отец", без местоимения "мне"? Дело тут не в проявлении моей нескромности. Тут присутствует некая тонкость, которую следует иметь в виду.

О том, "харьковском" периоде своей жизни, как и о многих

других жизненных обстоятельствах, отец подробно повествовал в своей прозе. Но - уже после того, как кое о чем мне поведал.

А вдруг моя память сохранила нечто, добавляющее краску к событию или к характеру повествующего об этом событии?

Наверное, устные воспоминания постепенно складывались в книги, которые отец потом писал.

Как-то размышляя об одном удивительном человеке, поэте и мыслителе, потрясшем его воображение и повлиявшем на его творчество, отец рассказал, что тот несколько дней жил в его номере в харьковской гостинице, спал на полу, подложив под голову набитый бумагами мешок, а точнее - наволочку, в которой держал свои рукописи и, в частности, "доски судьбы".

Откуда он там взялся и куда оттуда делся, осталось для отца тайной, как и все, что для очень многих - и для отца в том числе - было связано с этим гением.

Помню, как в своем кабинете московской квартиры в Лаврушинском переулке папа доставал из книжного шкафа один из, кажется, шести томов собрания сочинений Хлебникова (чуть ли не прижизненного, этакие довольно большого формата книжки в белых нарядных полу жестких обложках) и с упоением читал вслух одно за другим несколько стихотворений, время от времени вдруг обрывая чтение и восторженно глядя на меня.

Отец мне часто читал вслух - и великие стихи, и великую прозу - и мне хорошо был знаком восторженный блеск его глаз.

Ошибочно думать, что он читал исключительно мне, стараясь воспитать в сыне хороший вкус и понимание настоящей литературы. Уверен, что о педагогике он в тех обстоятельства думал меньше всего, если вообще думал. Он читал для себя и при этом делился своим восторгом.

Помню в папином чтении поэму "Зоопарк" с описанием разных животных, в том числе верблюда...

- А? Гениально!

Отцу я абсолютно верил на слово.

Тогда же он объяснял мне, что из себя представляли "доски судьбы", как они выглядели и в чем была их поразительная суть.

Он вспоминал, как этот удивительный человек читал в гостиничном номере стихи, написанные на клочках бумаги (даже, кажется, на оборванных газетных полях), доставая их из наволочки и снова их туда засовывая. Читал не целиком произведение, а какой-то отрывок, иногда несколько строчек, строфу или две, быстро терял интерес и со словами "и так далее..." обрывал чтение.

Это было уже много позже той незабываемой поездки.

И сценка чтения стихов из наволочки представала в моем

воображении очень яркой, потому что я отчетливо представлял себе таинственную и мрачноватую харьковскую гостиницу, которую когда-то давным-давно, в детстве показал мне отец.

Он показал ее не только мне, но и моей сестре Жене, моей двоюродной сестре Инне, которая всегда участвовала в наших автомобильных путешествиях в Крым, моей маме, но эти воспоминания пишу именно я и именно в свою, а не в чью-нибудь другую душу заглядываю, чтобы достать оттуда каким-то чудом уцелевшие впечатления.

Снова о Харькове.

Шикарная гостиница, вращающиеся двери, швейцар в фуражке.

Но было бы ошибочно думать, что отец и его приятель, тоже одессит, разделявший в то время его литературную и журналистскую судьбу, вели какую-то легкомысленную, веселую, чуть ли не светскую жизнь в тогдашней столице Украины. Да и голодные и холодные времена военного коммунизма отошли в историю, уступив место эпохе новой экономической политике. То есть, во множестве появились магазины, чьи прилавки ломились от продуктов и промышленных товаров...

Продукты и промышленные товары стоили денег, которых не было у двух молодых поэтов-журналистов, сотрудников ЮгРОСТы в сандалиях на деревянных подошвах и в холщовых штанах, подпоясанных веревками. Пропагандистский труд на благо нового социалистического общества оценивался бесплатным ночлегом в шикарной гостинице и ежедневными бесплатными же талонами на обед в какой-то там специальной столовке.

И вот в один прекрасный день столовка закрылась на ремонт, и питаться уже было негде и нечем.

Папа мне рассказывал, что они с приятелем кое-как продержались несколько дней на подножном корму (они выносили из гостиницы простыни, наволочки и полотенца и продавали это казенное имущество на рынке, то есть воровали). Но простыни скоро закончились, и отощавшие молодые люди улеглись на чахлой травке в городском сквере в ожидании неминуемой голодной смерти.

В результате все закончилось благополучно.

Именно в таком странном положении молодых поэтов нашел в городском сквере бравый военный, посланный за ними, чтобы пригласить на выступление перед красноармейцами. За выступление полагалась королевская плата - по буханке хлеба и по мешочку сахара. (Или что-то в этом роде...)

Почти водевильная ситуация.

Да и возможность голодной смерти может показаться какой-то игрушечной. Ведь без денег и без еды довольно часто оказываются люди среди всеобщего благополучия, и как-то все образуется.

Но меня в данной ситуации заинтересовало другое.

В одном из мемуарных произведений, повествующих о тех временах, автор воспоминаний (фамилии не называю), в те далекие дни столкнувшийся с отцом в Харькове, замечает, что он вызывал впечатление насмерть перепуганного молодого человека.

Можно было бы конечно не полениться, открыть нужную страницу упомянутых воспоминаний и привести дословную цитату, однако я этого вполне осознанно не делаю, чтобы не превращать свои заметки в академическое исследование жизни и творчества Катаева.

Ведь я рассказываю о том, о чем узнал без малейших усилий просто в силу свой судьбы.

А уж различных исследований и комментариев было и есть более, чем достаточно.

И сколько еще будет!

Чем же был насмерть перепуган Катаев?

Уж не водевильной ли возможностью голодной смерти на чахлой травке в сквере посреди процветающего города?

Нет, все обстояло куда серьезнее.

Дело в том, что слишком свежи были воспоминания об одесской тюрьме, куда отец был посажен Одесской ЧК и где он находился в течение нескольких месяцев в ожидании смерти за предполагаемую контрреволюционную деятельность.

Что же тогда произошло в отцом, как он оказался в чекистских застенках и как ему удалось выбраться оттуда?

Постараюсь рассказать об этом так, как я это вижу, потому что каждый момент жизни уходит и исчезает навечно и порой уже через мгновение невозможно восстановить промелькнувшую картину.

Что уж тут говорить о том, что было и прошло много и много десятилетий тому назад!

Придется мельчайшие сохранившиеся факты "вписывать" в общую картину, нарисованную историками.

У чекистов под подозрением были все, буквально все, и уж тем более представители такой враждебной силы, как интеллигенция. Как сын преподавателя гимназии оказался под подозрением и мой отец. Подозрение в огромной степени усугублялось еще и тем, что он к началу революции из вольноопределяющегося превратился в прапорщика, который за

участие в боевых действиях был награжден двумя Георгиевскими крестами и Анной за храбрость.

Папа мне втолковывал, что из себя эти ордена представляли.

Не уверен, что абсолютно точно уяснил во всех тонкостях, что это за награды такие, но понял, что его Георгиевские кресты были не офицерские, дающие приличную пенсию и чуть ли не дворянское звание, а солдатские и были при этом не самим орденом, а лишь орденскими знаками.

Что же касается Анны за храбрость, то это был маленький орденок, который носился не на груди, а прикреплялся к темляку шашки, вручавшейся вместе с орденским знаком.

Кстати сказать, "красные", захватившие Одессу - а в этом городе власть несколько раз переходила из рук в руки, - под страхом смерти требовали у населения сдачи не только оружия, но и царских орденов.

В одном из произведений (кино-повесть "Поэт") отец заставил своего персонажа по требованию революционных матросов выбросить во двор через форточку шашку с прикрепленным к ее темляку орденским знаком "За храбрость".

Матросы собирают в расстеленное посреди двора одеяло оружие, выбрасываемое жильцами, и уносят его.

Сдача оружия являлась выражением лояльности жителями города к советской власти.

Не знаю, как это происходило в действительности (так, очевидно, и происходило), но в другом произведении (повесть "Я, сын трудового народа...") подобный факт со сдачей оружия победителю отец описывает иначе.

Речь идет о кайзеровских войсках, оккупировавших в восемнадцатом году часть Украины.

Так вот, "побежденный" по требованию германского офицера протягивает тому свою шашку, но победитель, увидев прикрепленный к темляку орденский знак "За храбрость", отказывается принять оружие со словами:

- Такое оружие голыми руками не берется.

И оставляет шашку "побежденному".

Итак, двадцатые годы, тюрьма, и отец, ждущий своей участи.

Собственно говоря, спасти заключенного может только чудо.

И чудо происходит.

На очередном допросе его узнает один из чекистов (фамилия известна), завсегдатай поэтических вечеров, в которых в числе прочих одесских знаменитостей (их имена так же хорошо

известны) всегда участвовал молодой и революционно настроенный поэт Валентин Катаев.

Это не враг, его можно не расстреливать.

И отец оказывается на свободе.

Чекист, спасший жизнь молодого одесского поэта, Яков Бельский.

Он сам - талантливый художник. Так же как и отец, и многие другие художники и литераторы, он перебирается в Москву, работает (не отвечаю за точность этих данных) в газете "Вечерняя Москва".

Дружба с отцом и другими одесситами в Москве продолжается.

Существует фотография, на которой изображены отец, Яков Бельский, кто-то еще из тогдашних знаменитостей, сделанная во дворе Союза Писателей.

Кажется, в день похорон Маяковского.

Мама вспоминает, что Бельский намеревался написать ее портрет. Может быть это и произошло бы, но чекист Бельский был в конце тридцатых годов арестован своей организацией и уничтожен.

Отец с большой симпатией относился к Яше Бельскому, даже с любовью. Я это чувствовал, когда он вспоминал о своем погибшем друге.

В Москве Бельский сказал ему, что хотя он уже не работает в чека, время от времени его вызывают "туда" на сборы (или что-то в этом роде), потому что "просто так из органов не уходят".

Когда они с отцом выпивали, Бельский, хватаясь за голову, шепотом рассказывал об огромном количестве стукачей в писательской среде и о доносах на отца, которые сам читал.

По видимому, этим объясняются некоторые "необъяснимо" прохладные отношения отца с некоторыми его товарищами-писателями.

Очень легко и убедительно это можно было отнести за счет высокомерия Катаева.

Высокомерия, которого не было и в помине!

По воспоминаниям родителей хорошо представляю себе этого милого человека, умного и талантливого пьяницу, верного друга - реальный образ реального человека.

И все же в нем была какая-то тайна.

Ну, вот, скажем, фамилия - Бельский. Известно, что это псевдоним, а вот какая же настоящая? На эти раздумья навел меня не так давно телефонный звонок. Звонивший представился журналистом, который занимается историей Одессы первых лет советской власти. Он интересовался Бельским.

Рассказал обо всем, что сам знаю, но настоящая фамилия Бельского была мне не известна.

Журналист в свою очередь посвятил меня в ход своих исследований в различных архивах, где ему так и не удалось напасть на след Бельского.

Словно бы он вообще не существовал.

Но он же существовал!

Думаю, история этого человека может быть очень интересной, и я всячески желаю своему собеседнику напасть на верный след. А сейчас с удовольствием поделюсь с ним новыми данными о Якове Бельском, которые неожиданно сообщил мне Семен Израилевич Липкин.

Еще до войны, (и, разумеется, задолго до так называемого распада Советского Союза) в одной из Среднеазиатских столиц судьба столкнула Липкина с ответственным работником отдела пропаганды республиканского комитета коммунистической партии. Фамилия этого товарища была Беккер, и он представился Липкину, как родной брат Якова Бельского.

Он рассказал, что в двадцатом году его брат, чекист Яков Бельский, вытащил из одесской тюрьмы и тем самым спас от неминуемого расстрела земляка Липкина ныне знаменитого писателя Валентина Катаева...

Можно сказать, именно пребывание в тюрьме стало последним, заключительным аккордом жизни Катаева в Одессе. Вскоре после счастливого освобождения отец покидает родной город, на несколько месяцев "оседает" в Харькове и затем приезжает в Москву, где остается навсегда.

А несколько месяцев харьковской жизни было, так сказать, переходным периодом.

Частенько в своих воспоминаниях я оказываюсь где-то за тридевять земель, там, куда уже никогда не вернуться, но где я прекрасно существую рядом со своими любимыми и где они также прекрасно существуют.

Воображение (так это назовем) переносит меня в такие обстоятельства, где я уж никак не мог быть. Скажем, в середину двадцатых, в летнюю Одессу, на Лонжерон. Одесситы всегда любили да и сегодня любят ходить сюда купаться - и пляж хороший, и от города близко

Точнее сказать, Лонжерон не от города близко, а является частью самого города.

Так вот, Лонжерон, конец двадцатых, на один из больших камней, словно бы великаном рассыпанных неподалеку от берега в море, ловко влезает молодой загорелый человек, стройный,

красивый, выпрямляется, оглядывается победно и воскликнув: "Любуйтесь, так выглядит молодой бог!" ныряет в глубокое море.

Таким вспоминает моего отца его младший земляк поэт Семен Израилевич Липкин.

Здесь же на пляже находился и другой знаменитый выходец из Одессы, поэт Эдуард Багрицкий. Но он не купается, а, сидит, ссутулившись и, сипя как астматик, смотрит исподлобья в морскую даль.

Может быть, отец другие слова произнес, например "Вот, молодой бог"...

Но это не имеет большого значения.

Значение имеет сам факт того, что на Лонжероне, в той его безлюдной части, где вместо пляжного песочка из воды торчат камни, и куда по этой причине никогда не ходили купаться женщины с детьми, собрались литераторы - два знаменитых одессита, уехавших несколько лет назад в Москву, а теперь, прославившись в столице, вернулись, чтобы вздохнуть морской воздух, нырнуть в ласковое Черное море и снова уехать, и их молодой собрат, совсем еще мальчик начинающий поэт Семен Липкин, которому тоже предстоит прославиться и внести свою весомую лепту в литературную славу родного города...

Да, отец навещал время от времени родной город. Но уже никогда окончательно не вернулся сюда.

Не так давно со мной, как с сыном Валентина Петровича Катаева по телефону связалась весьма эрудированная дама, знаток и историк советской литературы двадцатых - тридцатых годов, чтобы прояснить кое-какие обстоятельства из жизни одного из приятелей молодости отца.

К сожалению, я не смог быть ей в этом полезен.

Она же, со своей стороны, совершенно неожиданно оказала мне неоценимую помощь в осуществлении замысла книги об отце, заговорив о Московском художественном театре, где в конце двадцатых годов шли пьесы молодых советских писателей, в том числе и пьеса отца "Растратчики".

Разговор о МХАТе, о первой постановке на его прославленной сцене произведения отца всколыхнул мою память.

Меня волнует история с инсценировкой повести "Растратчики", той самой, что была в 1927 году опубликована в журнале "Красная новь" (предтеча "Нового мира"), получила широкий читательский резонанс в стране и за рубежом, так как сразу же была издана на многих европейских языках и была высоко оценена критикой в Англии, Франции, Германии.

Судьбой своей повести "Растратчики" отец иллюстрировал

наблюдение, что в Советской России успех любого произведения искусства (литературы ли, музыки или живописи) "диктуется" признанием этого произведения на Западе.

- Признание здесь, у нас, приходит с Запада, - повторял отец.

Отец рассказывал о скандальной ситуации, которая сложилась в связи с переводом повести "Растратчики" в Англии.

Он легкомысленно отнесся к письму из одного из английских издательств с предложением перевести на английский язык и издать для англоязычных стран "Растратчиков" и в своем ответе дал свое согласие, не обратив внимания на предложенную издателем смехотворную сумму авторского вознаграждения.

Это смехотворное вознаграждение (кажется, что-то порядка одного-двух фунтов) и последовало.

А книга вдруг стала пользоваться широким успехом у англоязычных читателей, хорошо распродавалась, тираж ее был очень большим. В Соединенных Штатах она стала бестселлером.

Но издатель даже и не думал платить автору сверх обусловленной суммы.

За молодого писателя из советской России вступились его маститые английские коллеги. Они развернули широкую компанию в прессе, стараясь воздействовать на бессовестного издателя, опубликовали обращение к нему, но тот игнорировал призывы и Герберта Уэльса, и Бернарда Шоу, и целого ряда других известных писателей и не выплатил отцу больше ни пенса...

- Таковы законы капитализма, - говорил отец. - Закон джунглей!

Но он говорил также, что сам был виноват, не придал значения бумажке, которую с маху подписал, тем самым превратив ее в серьезный юридический документ.

Вообще, все это рассказывалось со смехом, и уплывший из рук гонорар в английских фунтах вовсе отца не расстраивал (может быть чуть-чуть), потому что успех книги был для него большой неожиданностью и потому что свою дальнейшую литературную судьбу он никак не связывал с публикацией своих произведений на Западе.

Итак, инсценировка "Растратчиков", созданная отцом по просьбе Художественного театра.

Вот как я вижу эту историю.

Станиславский обратил внимание на появившуюся в печати и сразу же наделавшую шума повесть молодого писателя и

загорелся желанием вывести на мхатовскую сцену новых, современных героев, существующих в условиях новой, современной действительности.

Он назвал автора повести современным Гоголем.

Видимо, именно такая оценка личности молодого писателя прославленным режиссером Станиславским дала основание трем карикатуристам, подписывающим свои работы ныне легендарным именем "Кукрыниксы", изобразить в своем шарже Катаева в обличие Гоголя.

"Растратчики" была одной из трех пьес, написанных по воле случая молодыми сотрудниками газеты "Гудок" для постановки на сцене прославленного театра.

Начинающими драматургами были и Михаил Булгаков с "Белой гвардией", и Юрий Олеша с "Тремя толстяками".

Следует заметить, "Гудок" являлся газетой железнодорожного ведомства, и Константин Сергеевич Станиславский поэтому был глубоко уверен, что все перечисленные авторы - железнодорожники.

И гордился, что его театр идет в ногу со временем и привлекает к сотрудничеству представителей пролетариата.

Наблюдение великого режиссера вскоре нашло блестящее подтверждение - театру была предложена пьеса железнодорожной тематики "Бронепоезд", созданная, по всей видимости, так же "железнодорожником" Всеволодом Ивановым.

Все пьесы были одобрены и приняты к постановке.

О чем же повествовали в своих произведениях молодые "рабочие - железнодорожники"?

Начать с инсценировки романа Михаила Булгакова "Белая гвардия", которая получила широкую известность как "Дни Турбиных".

Это спектакль о гибели белой гвардии, белого движения и о безусловной, на века победе красной армии, большевиков и социалистической революции.

Старый мир рухнул безвозвратно, погребя под своими обломками таких разных, иногда милых, любящих и благородных, иногда же подлых и ничтожных людей, составляющих "белую гвардию".

Читатель, а затем и зритель, прощается с той, старой жизнью, и это прощание бередит душу, вызывает смятение и слезы.

Стало уже общим местом утверждение, что коммунистический диктатор и душегуб десятки раз смотрел в Художественном театре Булгаковскую пьесу, и у него не было и малейших поползновений удалить спектакль из репертуара.

Однако отношение к самому автору знаменитого произведения у диктатора было "сложное". У многих - если не у всех - пьес Михаила Булгакова, кроме "Дней Турбиных", судьба была нелегкая, не сказать бы - трагическая.

Судьба же именно той, первой инсценировки Булгаковского романа, представленной прославленному театру одним из сотрудников железнодорожной газеты "Гудок" была вполне благополучной, не сказать бы блестящей.

Перечитал строки, посвященные Булгакову, и понял, что возможно невольно допустил какие-то неточности. Кажется, и до "Дней Турбиных" у Булгакова уже были какие-то связи с Художественным театром. Во всяком случае, ко времени, когда там появился со своим романом "Растратчики" отец, Булгаков был в театре "своим человеком".

Когда работа над инсценировкой "Растратчиков" была отцом закончена, Булгаков вызвался прочесть ее "на труппе" вместо него, поскольку у отца не было для этого хотя бы минимальных актерских данных.

Опытный Булгаков с читкой справился прекрасно.

Далее.

До сих пор, вот уже в течение почти шестидесяти лет в репертуаре МХАТа присутствует спектакль для детей "Три толстяка", поставленный по инсценировке романа-сказки Юрия Олеши - еще одного "железнодорожника" из той же газеты "Гудок".

О чем роман и о чем спектакль?

И роман, и созданный на его основе спектакль - о безоговорочной и радостной победе революционного народа над тремя толстяками - мироедами, поработившими несчастный город, где под безжалостным гнетом жандармов и солдат прозябает акробат Тибул, девочка Тутти, учитель танцев Раз-два-три...

И снова блестящая театральная судьба.

Кстати сказать, не только театральная. В отличие от романа Булгакова "Белая гвардия", сказка Олеши "Три толстяка" многократно переиздавалась.

И вот - "Растратчики".

О чем произведение? О чем спектакль?

Великая Октябрьская социалистическая революция победила и страна зажила своей новой жизнью.

Из чего же эта новая жизнь складывалась?

В один прекрасный день главный бухгалтер со своим кассиром отправляется в банк за зарплатой для сотрудников и...

Подробно пересказывать роман не буду, скажу только, что

скромные служащие заурядного советского учреждения скрываются вместе со всеми деньгами.

Герои романа, захваченные бациллой растратничества, отправляются в диковинное путешествие по новой советской стране.

Пьяный угар и затем - холодное протрезвление...

Отец очень смешно рассказывал про то, как Константин Сергеевич Станиславский, придя на одну из репетиций, долго недоумевал, зачем у входных дверей многонаселенной квартиры на сцене театра декоратор приделал такое количество звонков.

Ведь и одного довольно!

Да и сам быт коммунальной квартиры, бедность на грани нищеты, неустроенность, унылость, и одновременно с этим - разгул быстро и нечестно разбогатевших дельцов и жуликов, как понимаете, никого не может порадовать состоянием дел у новой власти.

Нет, как ни крути, а не дает пьеса "Растратчики" театру возможности торжествовать по поводу победы новой революционной действительности над проклятым прошлым...

Станиславский, выбравший повесть молодого писателя к постановке в Московским Художественном Театре и по существу руководивший работой режиссера Судакова, в конце концов признался в своей ошибочной трактовке пьесы и в негативной роли, которую сыграло его руководство постановкой.

А ведь ничто не предвещало "Растратчикам" столь неудачной театральной судьбы: спектакль-то "прошел" на сцене МХАТа всего восемнадцать раз, и затем был навсегда снят.

Отец пытался понять причину провала.

Но его, конечно, в первую очередь и главным образом интересовали собственные ошибки, художественные просчеты.

Совершенно очевидно, что неудача мхатовской постановки в конце двадцатых годов сильно задела отца. В последние годы жизни он вернулся к работе над пьесой "Растратчики".

Так в чем же причина неудачи?

Да и было ли это действительно неудачей, или же пьесу сняли с репертуара по каким-то другим соображениям? На этот вопрос могли бы ответить историки театра. Но что-то не видно, чтобы кого-то эта ситуация интересовала.

А зря, между прочим...

Отец не считал себя драматургом, хотя количество пьес, написанных им и поставленных в театрах страны и мира хватило бы на судьбу успешного драматического писателя, который кроме создания пьес ничем другим не занимался бы.

Судьба некоторых пьес отца не представляет особого интереса. То есть он ее сочинял, предлагал театру, там ее ставили, она выдерживала кое-то количество представлений, допустим сто или двести, после чего благополучно умирала, не оставив после себя заметного следа.

Насколько я знаю, пьес такого рода у отца две - "Пора любви" и "Оборотень". "Пора любви" выдержала, кажется, несколько постановок - в одном из московских, чуть ли не "академическом" театре, а так же где-то в провинции.

Что же касается "Оборотня", но эта пьеса так до сих пор и не нашла своего театра. Несмотря на ее несостоятельность, расскажу о ней подробнее.

Отец написал ее на злобу дня, в то далекое время, когда весь мир потрясла и восхитила операция секретных израильских служб, которым удалось вычислить, поймать, вывести в Израиль, судить, приговорить к смерти и казнить нациста Эйхмана, погубившего во время второй мировой войны в нацистских лагерях смерти огромное число евреев.

Главная героиня пьесы - пожилая француженка, чудом выжившая во времена нацистской оккупации и поклявшаяся самой себе обнаружить и придать суду нацистского врача-убийцу, с которым столкнула ее судьба во время войны.

По всему миру у нее есть добровольные помощники...

Словом, как и в действительности, француженке удается осуществить свою задачу - убийца разоблачен и схвачен.

Написав пьесу, отец решил предложить ее к постановке по старой памяти своему доброму приятелю, прекрасному актеру и режиссеру, художественному руководителю знаменитого московского театра, в котором до этого ставились его пьесы.

Они любили посидеть за накрытым столом, выпить хорошего вина, поговорить об искусстве.

В очередной, и, думаю, не последний раз в этой книжке изменю данную самому себе установку не называть фамилий людей, о которых упоминаю, и все-таки назову приятеля отца - Рубен Николаевич Симонов.

Среди театральных баек, которые ходили об этом человеке, отцу особенно нравилась история, как однажды тот невольно заснул во время читки новой пьесы, тем самым подписав ей приговор.

Разве же можно ставить пьесу, которая способна вогнать в сон!

Шли переговоры по телефону, Симонов пытался изыскать окно для быстрой встречи между гастрольными поездками, репетициями и премьерами.

Наконец, договорились, и как-то поздним вечером после спектакля Рубен Николаевич приехал в Переделкино, к нам на дачу, и читка новой папиной пьесы состоялась.

Меня к моему великому сожалению тогда не было дома.

- Ну как? - спросил я у отца при встрече. - Понравилась пьеса?

- Он заснул, - ответил отец смущенно, но одновременно улыбаясь, не в силах совладать с весельем, вырывающимся из самой глубины его существа.

Если, скажем, не сложившаяся судьба двух вышеозначенных драматических произведений проистекала от недостаточности их художественного уровня, то гонения на другие пьесы носили скорее политический характер.

Вот, например, судьба написанной во время войны комедии "Синий платочек".

На фронт на передовую в адрес незнакомых солдат из тыла отправлялись посылки, содержавшие как правило теплые вещи, без которых трудновато было переносить в окопах зимнюю стужу, в частности, вязанные носки, а так же вышитые кисеты, белье и так далее.

Между солдатами и отправителями, как правило это были молодые девушки, завязывалась переписка, возникали чувства.

Водевильный сюжет пьесы "Синий платочек" заключался в том, что посылку на фронт послала не девушка, мальчик Валя. Пойди-ка догадайся по имени - мужчина это или женщина!

Пьеса была поставлена и имела оглушительный успех. Зрители, что называется, валом валили. И тут вдруг в "Правде" появляется разгромная статья, не оставляющая на пьесе камня на камне. Легкомысленному драматургу вменяется в вину издевательское отношение к солдатам, проливающим кровь и рискующими жизнью за Родину и так далее и тому подобное.

Разумеется, пьеса была немедленно запрещена...

Надо сказать, что она повторила судьбу одной из предыдущих пьес отца под названием "Домик", которую еще до войны готовил к постановке в своем ленинградском театре "Комедии" Николай Павлович Акимов и которая так же была подвергнута уничтожающей критике в партийной печати, запрещена и не допущена к премьере.

Впрочем, в дальнейшем ("после Сталина") пьесу снова разрешили, она ставилась в театрах страны, в том числе в московском театре Сатиры и называлась "Дело было в Конске", а так же вернулась к "Акимову" в постановке его ученика Александра Белинского.

Тогда же, в те суровые времена ситуация была трудная,

запреты пьес, мягко говоря, не очень-то способствовали творчеству.

У другого бы руки опустились.

Но не у отца.

"Боязнь нищеты"...

Думаю, отца не покидало гнетущее чувство возможного обнищания, точнее - возможного возвращения в это жуткое, сводящее с ума состояние безденежья, из которого уже никогда не выбраться.

О богатстве.

Со стороны виднее. Я тоже позволю себе высказаться по этому поводу. То есть подтвержу этот факт - действительно, наша семья не голодала, когда многие в стране голодали или жили впроголодь, а уж о лишней копейке и речи не было для очень и очень многих.

Наряду с этим случались эпизоды, которые ставили нашу семью и в первую очередь отца, основного и единственного кормильца, в очень трудное положение.

Вспоминается случай с гонораром за повесть "Сын полка".

Выплату довольно крупного гонорара за эту повесть (оплачивались два тиража - один простой, другой - массовый, то есть 200%) издательство подгадало к денежной девальвации, и почтальон принес деньги (обычно автор приходил за ними в кассу издательства или же получал денежный почтовый перевод) как раз накануне этого события.

В доме оказалось куча денег (в прямом смысле), которые не на что было потратить.

С двенадцати часов ночи эти деньги, как в сказке, превратились в ничего не стоящие бумажки.

И в обозримом будущем денег негде было взять.

А есть нужно было.

Чтобы не забыть!

Отцу очень нравилось высказывание Пушкина о работе "Пугачевский бунт", которая претерпевала одно издание за другим, хорошо продавалась и тем самым приносила автору какие-то средства.

Так вот, Пушкин называл Емельку Пугачева "своим оброчным мужичком".

По аналогии отец называл своим оброчным мужичком героя повести "Сын полка" Ваню Солнцева.

Следует заметить, что можно было бы и целый ряд других "оброчных мужичков" назвать...

Одно из первых изданий "Сына полка" вызвало у меня

сильный интерес: книжка была в плотной глянцевой суперобложке с фотографией мальчика в солдатской шинели и в каске. Было странно, что выдуманный папой Ваня Солнцев оказывается в действительности обычным, живым мальчиком. Я знал, что на самом деле это не так, и к этому изданию книжки относился с неприязнью.

Дело в том, что после выхода в свет, повесть была экранизирована, и живой мальчик на суперобложке был не кто иной, как персонаж из фильма, сыгранный маленьким актером.

Итак, чувство неприязни, отторжения.

Но не книги, не текста. Книгу я сразу же полюбил и упивался описаниями природы.

"Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было сыро и холодно. Из темных лесных болот поднимался густой туман..."

Могу цитировать наизусть и дальше.

Мне, конечно, трудно этот факт проконтролировать, но многие полюбившиеся фразы я узнал задолго до того, как прочел в книге. Отец читал маме эту повесть по мере написания, и мы с сестрой так же при этом присутствовали.

Очень хорошо помню папу во время работы.

Сейчас попробую сделать нечто почти немыслимое - воссоздать картину работы.

Он сидел, низко и как-то боком склонившись над столешницей, и быстро писал, заполняя страницу за страницей буквами, словами, фразами, соединяющимися в ровные строчки.

Конечно, я не присутствовал при этой работе постоянно.

Час от часа, день ото дня стопка исписанных родным папиным почерком страниц увеличивалась, а пачка белой бумаги - худела, худела, худела...

Белый нетронутый лист был мертвый, холодный, а покрытые ровными синими строчками страницы были живыми, теплыми, они даже, кажется, шевелились и общались друг с другом. Во всяком случае края страниц чуть закручивались и между ними присутствовало какое-то таинственное пространство.

С этой повестью у меня многое связано.

Отец ее задумал, если не ошибаюсь году, приблизительно, а сорок третьем. Об этом, разумеется, я узнал гораздо позднее. Да и то не уверен полностью, что это произошло именно тогда.

Во всяком случае замысел "Сына полка" появился в результате многочисленных поездок на фронт в качестве корреспондента центральных газет.

Как-то в одном из воинских соединений отец обратил внимание на мальчика в солдатской форме - в гимнастерке,

галифе и даже в настоящих солдатских сапогах, только, разумеется, маленьких, по росту.

Командир соединения рассказал, что его разведчики подобрали в лесу ребенка, который прятался в заброшенном блиндаже, голодный, озлобленный, почти одичавший.

Шли наступательные бои, соединение двигалось вперед по разоренным войной районам, найденыша некуда было девать, да и не бросишь же его одного на погибель.

Так мальчишка и прижился в воинской части.

И еще несколько раз отец сталкивался на фронте с похожими случаями.

- И я понял, что это не единичный случай, а типичная ситуация: солдаты пригревают брошенных, беспризорных детей, сирот, которые потерялись или у которых погибли родители.

Так мне отец объяснил свое намерение написать повесть "Сын полка".

Между прочим, он довольно часто говорил (или я сам себе это нафантазировал), что повторяющиеся, типичные ситуации, явления, могут стать предметом литературы.

Что же касается названия повести, то у него очень интересное, я бы даже сказал, довольно юмористическое происхождение.

Еще до войны, конечно же, не этой, Великой отечественной войны, а той, Первой мировой, большой популярностью пользовалась оперетта "Дочь полка" и ее название застряло в его памяти.

До поры, до времени.

Теперь уже, к сожалению, не спросишь, видел ли отец тот музыкальный спектакль на сцене или только лишь знал о нем понаслышке.

Тем не менее в нужный момент, лет этак через тридцать, память выстрелила и появилось название - "Сын полка".

Именно благодаря отцу в нашей действительности появилось понятие - "сын полка".

Вспоминая о повести "Сын полка", мне хотелось бы еще немного рассказать о войне, о Великой отечественной войне, современником которой я был.

Собственно говоря, все мое сознательное детство приходится на войну.

Например, запомнилась бомбежка, оказавшейся, как потом выяснилось, одной из первых бомбежек Москвы.

В столовой, в квартире в Лаврушинском переулке, звенели бокалы в горке, и потом нас повели в бомбоубежище, которое

находилось в подвале нашего дома. Там я помню слабого накала лампочку, каких-то пожилых людей в сером, немыслимо плакал грудной ребенок, а под низкими потолками находились какие-то толстые трубы.

Разумеется, отдаю себе отчет, что всю эту картину ночного бомбоубежища тогда, а трех летнем возрасте воспринимал несколько иначе - ведь многих слов я просто-напросто не знал. Но картина осталась в памяти, и уже потом, так сказать, постфактум, некоторым понятиям я дал названия - слабого накала лампочка, канализационные трубы, горка, бокалы и так далее...

Сказал, "нас отвели", но в действительности это сказано для красного словца. Никаких нас не было. Был лишь я один. Понятно?

Теперь-то я точно знаю, что рядом находилась моя старшая сестра, но никак ее не помню, как не помню и маму в тот момент.

Помню только ощущение, что она была...

Ну, этого, пожалуй, будет достаточно.

Речь-то идет не столько обо мне, сколько об отце. Отца той эпохи в памяти не сохранилось. Он возник несколько позже, очевидно через несколько месяцев, когда мы в эвакуацию приехали в Куйбышев.

Не могу не поделиться одним коротким и драгоценным воспоминанием.

Худой человек в военной гимнастерке снимает меня с грузовика.

После длинной утомительной дороги я испытываю чувство покоя и безопасности. Может быть, в моем подсознании покой и безопасность запечатлены именно этим давним эпизодом.

(Хотелось бы попроще это соображение выразить, но - как получилось, так получилось!)

Крепкие руки худого человека в гимнастерке надежно берут меня за бока и опускают на землю. Это единственное воспоминание о моем дяде, папином младшем брате Жене, писателе Евгении Петрове, который случайно оказался тогда в Куйбышеве, вернувшись из очередной журналистской поездки на фронт.

Отец же как раз был тогда на фронте в своей очередной командировке.

Вскоре, может быть через полгода после этого дядя Женя погибнет в авиационной катастрофе под Ростовом - на - Дону, возвращаясь из осажденного Севастополя...

Все свое детство я рассматривал на свет кадры документальной киноленты, где изображен был, снятый сверху, лежащий среди похоронных цветов мертвый дядя Женя.

В память навсегда "впечаталось" его точно бы вылепленное худое и длинное лицо, высокий лоб, выпуклые, как на посмертных масках, веки...

Конверт со стопкой нарезанных позитивных пленок хранился в одном из таинственных ящичков папиного письменно стола, не под столешницей, а в боковой надстройке, с двух сторон закрывающейся складными створками.

Это сооружение чем-то напоминало дворец в волшебном городе, с аркой и деревянными колоннами...

Мои детские впечатления о военном времени, воспоминания об отце и о его письменном столе возвращают к написанию "Сына полка" и к обстоятельствам вокруг этой работы.

Прочтет человек предыдущую фразу и подумает, что автор, то есть я, сын писателя Валентина Катаева, прекрасно осведомлен о всех тонкостях и, как сейчас принято выражаться, "нюансах" работы своего отца над повестью о "пастушке" Ване Солнцеве.

Разумеется, это совсем не так.

Вот даже сейчас, написав случайно возникшее в памяти слово "пастушок", я не могу сказать, почему так называли мальчика солдаты, нашедшие его ночью во фронтовом лесу. Может быть один из разведчиков, возвращавшихся с боевого задания в тылу врага, увидев спящего в заброшенном окопчике, под кустом ребенка вдруг представил себе картинку из мирной жизни - деревенский пастушок заснул в ночном...

И на многие другие вопросы у меня нет ответов, и уже не у кого спросить.

К счастью, это и не нужно. Повесть написана лаконично, образно, взаимоотношения персонажей точны, и сами персонажи зримы и жизненны.

И все произведение дышит войной.

Чтобы вот это дыхание войны наблюдать, мне особенно не приходилось напрягаться. Хотя война была где-то там, далеко, на фронте, ее осколки, выражаясь метафорически, долетали до Москвы.

По переулку маршировали шеренги военных в новеньком обмундировании, в небе висели серые аэростаты, напоминающие огромных слепых животных, было множество других признаков, которые невозможно даже сейчас, в воспоминаниях, выделить из остальной, так сказать, мирной жизни тыловой Москвы.

А неосознанная тревога, или вдруг прилетающие откуда-то леденящие ветры ужаса, или ощущение сиротства при живых-то родителях?

Собственно говоря, вся жизнь была войной.

А осколки войны действительно были настоящими

осколками - грубыми, с острыми краями, в окалине.

Папа раскладывал их на столе, рассказывал, откуда они взялись, их историю.

Тогда из его уст я услышал названия городов Орел, Курск и какой-то непонятной Орловско-Курской дуги.

Во время знаменитой битвы, окончательно показавшей, кто же победит в войне, отец по воле корреспондентской судьбы оказался именно там, был свидетелем очень ярких и трагических эпизодов и самой битвы, и предшествующих событий.

Гораздо позже я прочел один из его военных рассказов, действие которого происходило в тех краях и в то время. Название рассказа - "Виадук".

Не буду пересказывать сюжет, скажу лишь, что один из персонажей этого рассказа, молодой офицер, адъютант, получив задание, должен был перебраться через железнодорожную насыть на другую сторону. Насыпь простреливалась неприятелем, то есть немцами, и молодому военному не повезло.

Другой персонаж рассказа, командир погибшего адъютанта, смыл в ручье, протекающем под виадуком, с револьверной кобуры кровь убитого офицера, и протянул осиротевшее оружие автору рассказа.

Эту небольшую аккуратную со следами плохо смытой крови кобуру, наполненную тяжеленьким револьвером, я много раз держал в руках, доставая из ящика папиного письменного стола, и у меня медленно, но верно созревала мысль отогнуть крышку чуть заскорузлой кобуры и извлечь наружу ее опасное содержимое.

В конце концов пальчики пятилетнего мальчика должны были справиться с тугой застежкой и выпростать из кожаной щелочки гладкий металлический шарик.

Кобура откроется, а уж там...

Но и папа мой был не лыком шит.

Потом он мне рассказал, как однажды, вернувшись домой, застал меня с своем кабинете с опасной игрушкой в руках.

Он испытал настоящий ужас.

Осознав, какую страшную опасность несет в себе боевое оружие в доме, где живет любознательный мальчуган, да еще в военное время, отец унес из дома револьвер.

Та же судьба постигла и несколько чудесных снарядиков небольшого калибра, которые отец так же привез как-то с фронта и которые стояли на письменном столе рядком, мал мала меньше, точно матрешки, этакими фантастическими пришельцами из таинственного мира войны.

(..."мира войны"...)

Они похожи на револьверные пули, только значительно больше.

Металлические гильзы с выглядывающими из них золотыми полушариями снарядов - настоящие произведения искусства. Разве же могут такие прекрасные вещицы нести в себе смертельную опасность!

Помню папины более поздние размышления об этих снарядах.

Они очень красивые, но совершенно бесполезные в мирной жизни.

Некоторые из них развинчиваются, но полученные чашечки, такие гладенькие, миленькие невозможно ни к чему приспособить. Даже в качестве пепельницы они не годятся - во первых крайне неустойчивы, а во вторых где-то на дне, в самых сокровенных местах вдруг обнаруживается аккуратно просверленное отверстие, через которое на стол сыплется пепел.

Говорить о прототипе главного героя повести Вани Солнцева одновременно очень просто, так как какого-то одного конкретного мальчика просто-напросто не существовало в природе, и довольно сложно по той причине, что как только повесть появилась в печати и приобрела широкую известность, начали возникать люди, претендующие на то, что именно их судьбы легли в основу литературного произведения, и книга, следовательно, рассказывает именно о них.

Почти каждый день среди писем попадалось не менее одного от сына полка, где очередной Ваня Солнцев пишет автору повести о своей военной судьбе, вспоминает о встрече с ним на фронте...

Отношение отца к таким людям с течение времени претерпело определенные изменения.

Я помню время, когда ему нравилось, что такие люди возникают.

Каждое подобное письмо вызывало у него нескрываемый восторг. Ну может быть и не восторг, но он с удовольствием показывал извлеченный из скромного конверта листок из школьной тетрадки, а чаще тот же листок но без всякого конверта, а просто сложенный в треугольник.

- Еще один сын полка! - восклицал отец и иногда даже зачитывал такое письмо - очень наивное и трогательное.

- А ты его знаешь? - каждый раз спрашивал я в надежде на чудо.

Но чуда не случалось.

- Конечно нет! Его же не существует!

- Как же не существует! - каждый раз удивлялся я, забывая папины объяснения, что Ваню Солнцева он выдумал, взял из головы.

Такой ответ каждый раз меня ужасно разочаровывал.

Мне бы очень хотелось, чтобы этот мальчик, юноша, молодой человек существовал в действительности. Ведь для меня он был не бумажным героем. А живым человеком. И даже очень хорошо знакомым. Ведь он чувствовал точно так же, как и я бы чувствовал и думал, окажись я в тех же обстоятельствах.

Надо сказать, что с самого детства я воспринимал способность отца читать в человеческих душах, и, в частности, в моей собственной, как некое волшебное свойство.

Так что же вызывало в папе восторг или, во всяком случае, чувство удовлетворения? А то, что, значит, что явление, подсмотренное в жизни, действительно массовое и достойно быть положенным в основу литературного произведения.

Искать какую-нибудь хронологию в моих воспоминаниях бессмысленно.

Письма, телефонные звонки, выступления в прессе лже сынов полка начались не сразу же после выхода книги "Сын полка" и появления на экранах одноименного фильма. Видимо, должно было пройти какие-то время, чтобы это понятие - "сын полка" - внедрилось в сознание публики.

И вот, когда инкубационный период закончился и публика созрела, уже дня не проходило без появления нового Вани Солнцева.

Папины восторги сначала сменились равнодушием, а затем все чаще и чаще стало возникать раздражение, потому что все отчетливее проявлялось "проходимство" молодых людей, каждый из которых в обход другому желал застолбить за собой право быть единственным и неповторимым героем книги.

Это напоминало явление, отмеченное еще папиными "другом" и "братом" в сатирическом романе "Двенадцать стульев", а именно - толпы детей лейтенанта Шмидта, молодых и не очень молодых проходимцев, пытающихся поживиться плодами посмертной революционной славы своего погибшего за дело мировой революции отца.

И вот - "сыны полка".

Ведь то, что никто из претендентов не был настоящим Ваней Солнцевым, кому-кому, а уж отцу было достоверно известно.

Самое же противное заключалось в том, что в большинстве своем эти "герои" никакого отношения к фронту не имели и теперь, когда война закончилась и страна очень скупо, по капле,

выжимала из себя воздаяние своему несчастному народу за немыслимые лишения и за будничный, а потому еще более великий подвиг, стряпали, так сказать, вдогонку себе вымышленные биографии.

Несколько последних лет жизни отец посвятил своим стихотворениям.

Он задумал собрать воедино все сочиненные им за долгую жизнь и сохранившиеся стихотворения и переписать их в специально купленные для этой цели блокноты.

Это были большие блокноты с мягкой картонной обложкой, откидывающейся наверх, и в каждом из блокнотов - полосатая, как тельняшка, белая картонка в размер блокнотного листа, которую следует подкладывать под очередную страницу, если не хочешь нарушить ровность строк.

Полоски трафарета довольно отчетливо "просвечивают" сквозь блокнотную страницу, да только кому они нужны?

Начиная заполнять очередной блокнот (отец называл их тетрадями), он писал на обложках: "Тетрадь первая... вторая... третья..."

Приблизительно за год до смерти работа была завершена.

Всего заполненными оказалось семь блокнотов.

Какие-то стихотворения отец переписывал с чудом уцелевших (еще дореволюционных) газетных и журнальных страниц, некоторые брал из памяти, но таких было совсем мало.

Сложность заключалась в том, что большую часть своей жизни отец мало внимания уделял собственному архиву, и лишь под конец жизни приложил определенные усилия к тому, чтобы рукописи, заметки, фотографии, записные книжки, некоторые черновики, письма аккуратно разложить по папкам и поставить даты.

Отъезд из Одессы, пост революционная Москва, смена квартир, затем эвакуация, переезд на дачу в городок писателей в подмосковном Переделкине.

Все это не очень-то способствовало сохранности того, из чего складывается архив писателя.

Иногда отец получал письма от своих внимательных читателей, их можно назвать поклонниками (чаще - поклонницами), присылавших стихотворения, которые некогда прочли, записали на память и теперь возвращали любимому писателю - вдруг пригодятся!

И ведь пригодились!

Хотя некоторые стихотворения публиковались в газетах и журналах, издать отдельного сборника отцу так и не удалось.

Может быть он и не очень-то сильно стремился к этому.

Во всяком случае однажды он высказался в том смысле, что в окружении плеяды сильных поэтов, рожденных в двадцатом веке в России, можно и не заниматься поэзией.

Поэтические сборники отец не выпускал, стихотворения не печатал, но поэтом остался.

Находясь в одесской тюрьме, отец написал несколько стихотворений, впечатлений от переживаемого, простых, прозрачных, легких и очень значительных, потому что за невесомыми штрихами угадывается толща действительности - жестокой и неизбежной.

Ловлю себя на том, что пытаюсь дать стихотворениям критическую оценку, хотя в мою задачу это не входит. Моя задача - в коротких отрывках, пунктиром рассказать о жизни отца, как я ее представляю себе.

Но, читая те же "тюремные" стихи, я живо представляю моего отца, молодого, лишенного будущего, как все в этом страшном месте, заключенного, который прислушивается к ночным звукам своего страшного жилища, который ищет сквозь решетки лучик звезды, который вдруг видит легкий пушок какого-то дикого цветка, залетевший в камеру и, подхваченный папиросным дымком, снова вылетающий на свободу.

Одесса осталась в прошлом.

Но вот стихотворение, написанное отцом в Переделкине и датированное 1944 годом.

Каждый день, вырываясь из леса,
Как любовник в назначенный час,
Поезд с белой табличкой "Одесса"
Пробегает шумя мимо нас.

Пыль за ним поднимается душно,
Рельсы стонут, от счастья звеня,
И глядят ему в след равнодушно
Все прохожие кроме меня.

Да, территориально он в другом месте, но душа его навсегда - там.

Снова не удержался и привел здесь еще одно стихотворение, хотя сам себе дал зарок не цитировать произведений отца, а при необходимости лишь пересказывать своими словами.

Но нет, логика повествования заставила отступиться от непродуманного решения...

Почему же я поначалу решил отказаться от цитат?

Дело в том, что в своих произведениях - и поэтических, и прозаических - отец настолько точно и с такой художественной силой использует жизненные впечатления, что, коснувшись того или иного эпизода из его биографии, немедленно хочется проиллюстрировать его отрывком из рассказа или строкой из стихотворения...

А ведь так и увязнуть не долго.

И все же, наверное, от первоначального решения придется отказаться или во всяком случае не так уж строго его придерживаться, потому что без некоторых цитат никак не обойтись.

Вот, например, отрывок из стихотворения 1912 года, который может пролить свет на появление замысла романа "Белеет парус одинокий", осуществленного отцом в середине тридцатых годов.

Пятнадцатилетний подросток пишет:

К чему стремимся мы смущенною душою,
Что ищем мы в житейской суете?
Ужель достигнем в мире мы покоя?

Это стихотворение не о море, не о парусе, оно обращено к Богу и называется "К тебе, Христос", но для меня здесь очевидна перекличка с Лермонтовским "Парусом":

Что ищет он в краю далеком?

И дальше:

Как будто в бурях есть покой.

А в 1922 году отец пишет стихотворение под названием "Картина Марке."

Мелким морем моросил
Бриз и брызгал в шлюпки,
Вправо флаги относил

Паруса и юбки.

И, ползя на рейд черпать
Пузоватый кузов, в отделе пропаганды
Гнал по волнам черепах -
Черепа арбузов.

Наши совместные поездки по дорогим его сердцу местам не ограничивались посещением родной Одессы, днестровских лиманов, бессарабского местечка Будаки, связанных с его детством и годами первой молодости.

Отец любил Ленинград и воспоминания, связанные с ним. Этот странный и великий город часто присутствовал в его рассказах, которые будили воображение и мечту побывать там.

Чтобы не забыть!

Вот одна из смешных историй, связанная с Петербургом, которую отец, не большой любитель анекдотов, мне как-то рассказал.

Великий химик Дмитрий Дмитриевич Менделеев как-то ехал по Петербургу на извозчике.

Дорогу им преградила колонна кандальных.

Извозчик остановился, обернулся к Менделееву и сказал, кивнув на арестантов:

- Химиков повели!

И вот поздней осенью пятьдесят пятого года мы с отцом сели в "Красную стрелу" и на следующее утро, темное как ночь, оказались в Ленинграде на перроне Московского вокзала.

Даже сейчас, спустя тысячу лет, я отчетливо во всех подробностях помню то впечатление, которое произвели на меня Невский проспект, Казанский и Исаакиевский соборы, Зимний дворец - удивительные сооружения, еще более таинственные от того, что, оказывается, они существуют в действительности, а не только на рисунках и фотографиях и что к ним можно приблизиться, подняться по ступеням и даже коснуться их каменных тел.

Отмечу еще одну странность Ленинграда, очень меня удивившую - густую сеть троллейбусных проводов над улицами и перекрестками, от чего казалось, что ты пойман и что уже никогда тебе отсюда не выбраться.

Впрочем, спастись было довольно легко - не смотреть вверх.

В Исаакиевский собор отец повел меня, семнадцатилетнего малютку, смотреть на маятник Фуко.

Изнутри Собор был еще больше, чем снаружи.

Он был полутемный, безлюдный (кроме нас двоих там,

казалось, никого не было) и холодно роскошный. Один мраморный безграничный пол чего стоил. Конечно же никаких религиозных мыслей не возникало, хотя в соборном сумраке холодно и неодобрительно поблескивали оклады икон.

Да и откуда было взяться религиозным мыслям, если наш поход в Исаакиевский собор был учебной экскурсией, дополняющей школьный урок по физике, а не посещение Божьего храма.

Думаю, отец "мной прикрывался" - ему самому смертельно хотелось в очередной раз убедиться в непреложности закона физики, который наглядно мог продемонстрировать своим "качанием" маятник Фуко, свисающий из под самого купола, теряющегося во мгле, к центру мраморного пола с выложенной темным мрамором окружностью.

Это все, что сохранилось в моей памяти о внутренностях Исаакиевского собора.

Мы с отцом поднялись по наружным лестницам на смотровую площадку к самому куполу. Мне этого совсем не хотелось делать и ужасно сердило папино мальчишеское желание все видеть и все знать.

Что же касается меня, то я получил тогда, сам того не осознавая, бесценное знание о своем отце, его душевной энергии и неистребимой жаждой узнать что-то еще об окружающем его мире.

Мы остановились в "Астории", неподалеку от Исаакиевского собора, в той самой гостинице, где любил останавливаться отец во время своих частых поездок в Ленинград еще до войны, в те прекрасные времена, когда все были молоды, талантливы и знамениты.

И, добавлю от себя теперешнего, почти все еще были живы и здоровы.

Отец вспоминал своих друзей и попутчиков во время таких "набегов", представителей шумной московской богемы в чинную, "приличную" (как говорил отец) северную столицу. Тихие ленинградцы приходили в гости к своим московским друзьям в гостиницу Астория, где те занимали лучшие номера, и попадали с головой в круговерть веселого кутежа.

Мы поселились в одном из "тех" номеров, состоящих из двух комнат - спальни с двумя кроватями и гостиной с овальным столом, парой кресел и диваном. Все было чинно, скромно, ничто не давало даже намека на проходившие здесь пиры и веселья.

Надо сказать. что у меня с собой был фотоаппарат со вспышкой - подарок на мое семнадцатилетие, и я, как будущий газетчик, студент-первокурсник факультета журналистики

московского университета, щелкал все подряд.

В частности, я сделал несколько снимков в кафе Норд на Невском проспекте, в мужском туалете нашей гостиницы сфотографировал выложенный изразцами пол со знаменитым мозаичным жуком, внутренность Исаакиевского собор, еще что-то.

Несколько кадров - теперь-то я точно знаю сколько их было! - я уделил нашему ленинградскому гостю, который пришел в гостиницу к отцу и с которым они тихо беседовали, устроившись на диване.

Сейчас уже не помню - продолжал ли тогда отец курить, или бросил. "Теоретически" он тогда еще курил - через год он бросит курить, как, впрочем, и пить, потому что с ним случится "удар".

Замечу, что в данном случае используется не медицинский термин и не называется врачебный диагноз.

Меня в то время в Москве не было, я был на Алтае, на целине, куда удрал от неминуемого отчисления из университета за неуспеваемость.

О происшествии я знаю со слов моей сестры.

Они втроем - мама, папа и Женя обедали в нашей столовой в Лаврушинском переулке и вдруг, рассказывает сестра, она подняла глаза от тарелки и не увидела папы. А ведь он только мгновение назад сидел за столом.

Суп в папиной тарелке дымился, а самого папы не было.

Он лежал на полу с закрытыми глазами, бездыханный, как мертвый.

Врачи скорой помощи привели его в чувство...

Будучи человеком здоровым, отец о многих медицинских понятиях имел превратные представления. Например, о диете. В пятидесятые годы, когда после "удара" врачи заговорили о необходимости строжайшей диеты, отец со всей убежденностью приступил к выполнению этого требования.

Диета так диета!

По утрам он заедал два сваренных в мешочек диетических яйца куском свежего белого хлеба, густо намазанного сливочным маслом, за обедом выпивал чашку наваристого бульона, на второе бифштекс или какую-нибудь дорогую рыбу пожирней. А если и икра была - то и она шла в ход.

Уж он то на собственном опыте знал, что поможет ускорить выздоровление. В связи с ранениями на фронтах еще первой мировой войны отец оказывался в госпиталях, где поднимали на ноги молодых парней, говоря сегодняшним языком, именно

таким образом.

При ближайшем посещении врача отец похвастался своим усердием в лечении, и тут наконец все стало на свои места. Доктор шипящим шепотом объяснил ему, что продукты, которые он в таком количестве употребляют, окончательно расшатают здоровье, закупорят сосуды и в скором времени сведут в могилу.

Ему было довольно строго сказано, что если он хочет продолжать жить и писать, необходимо бросить курить, пить, отказаться от жаренного и жирного - то есть "сесть" на настоящую диету и в корне изменить вредные привычки.

А так как отец хотел продолжать жить и писать, он серьезно воспринял предписание врачей.

После выслушанной лекции отец все понял, и с этих пор главной его едой стала овсянка на воде, сухари и злаковый кофе с небольшим количеством нежирного молока. Этот напиток получил название "бурдоне" (в честь имени одной из парижских улиц) благодаря тому, что включало в себя прекрасное русское слово бурда.

Отец часто со смехом вспоминал об этой своей роковой ошибке, а заодно любил рассказывать анекдот о российском купце, гуляке и пьянице, которому доктора запретили выпивать.

Купец никак не мог взять в толк, что отныне он не должен употреблять ни водку, ни коньяк, ни шампанское. Как он ни уговаривал, доктора были непреклонны. Но на прощанье один из докторов его пожалел и позволил раз в неделю выпивать по рюмочке мадеры.

Купец возвратился домой с несколькими корзинами, наполненными бутылками мадеры и на недоуменный вопрос домочадцев с воодушевлением ответил:

- Доктор велел мадеру пить!

Фраза "Доктор велел мадеру пить" с папиной легкой руки прочно вошла в наш быт.

Так вот, если отец тогда, в Ленинграде, и курил, то это были коротенькие, в половину настоящих, сигаретки "Новые" московской фабрики "Дукат", которые, по всей видимости. специально были придуманы для тех, кто мечтал ограничить свое курение. Довольно наивное решение вопроса, потому что отец выкуривал коротеньких сигареток в два раза больше, чем длинных.

А вот гость - точно курил. Кажется, он курил папиросы "Прибой". Он не производил впечатление страстного курильщика. То есть из его ноздрей не выходили густые струи дыма. Однако сухие смуглые пальцы постоянно сжимали белый мундштук

дешевой папироски.

Это был Михаил Михайлович Зощенко.

Сейчас я с удовольствием рассматриваю все три фотографии, которые тогда мне посчастливилось сделать.

Одна - папа и Михаил Михайлович сидят, задумавшись, на диване, и две других - портреты Зощенко.

Вот он, худой, смуглый, с глянцевыми глазами, окруженными густыми тенями, внимательно слушает, держа папиросу чуть на отлете. А вот он, закинув голову, смеется, и я слышу его характерные тихие смешки.

Вернувшись в Москву, я сразу же проявил ленинградскую пленку и напечатал все получившиеся кадры. Конечно же были напечатаны кадры папы и Зощенко.

Пленку, разрезав на несколько частей и свернув колечками, я поместил к другим пленкам в картонную коробку от печенья "Крекер", хранившуюся за стеклянной дверцей в одном из книжных шкафов в папином кабинете в Лаврушинском переулке. Папа постоянно жил на даче в Переделкине, я же перебрался из "детской" в его кабинете.

Почему я говорю об этом?

Дело в том, что спустя какое-то время, может быть, через год или даже через два, я вспомнил о той, Ленинградской, пленке, достал коробку из под "Крекера", но трех, самых дорогих для меня кадров не обнаружил. Они исчезли...

В те времена я был ужасно подозрительным и сделал предположение, что пропажа пленки - происки КГБ. У меня в гостях бывало много разного народу - и близких приятелей, и людей случайных, и я не исключал, что кто-то из них целенаправленно...

Впрочем, когда я с возмущением делился с кем-нибудь о каких-то своих подозрениях, о подслушивании моего очередного телефонного разговора, или о непонятном присутствии в компании "скользкого" субъекта, то порой получал ответ:

- Да кому ты нужен!

Говоривший такое немедленно попадал под подозрение.

С течением жизни мысли о стукачах потеряли свою остроту.

Утверждение, что лично моя персона "органам" не интересна, я стал принимать как аксиому, но вот то, что под внимательнейшим наблюдением находится мой отец, не вызывала ни у меня, ни у моих близких друзей ни малейшего сомнения, и я старался, разговаривая об отце, соблюдать осторожность.

До сих пор - в течение многих и многих лет - я никогда никому не говорил о той давней обидной пропаже. Тем более, что

в какой-то степени ее удалось восполнить - переснять отпечатки, которые были сделаны сразу же по возвращении из Ленинграда.

Я был маниакально убежден, что через меня эти мерзавцы смогут попытаться достать отца.

Сейчас, размышляя об этом, я испытываю досаду на себя. Все-таки унизительно жить, постоянно кого-то подозревая. Но, с другой стороны, что с этим можно было поделать тогда, в той нашей стране?

Ладно, вернемся в Ленинград.

Папа вспоминал, что как-то в один из очередных набегов московской богемы на Питер, Зощенко остался ночевать у него в гостинице.

Номер был большой, люкс, и кроме отца и Зощенко там ночевал еще один господин, с неважной репутацией, говоря точнее - стукач. Но он был писатель, примыкал к их компании, и, насколько я понимаю, речи о том, чтобы выгнать его, не общаться с ним - не заходило.

От улегся в гостиной, на диване.

Под утром отца разбудил шорох в соседней комнате, дверь в которую была открыта. Тень господина с нехорошей репутацией перемещалась в утреннем сумраке.

Зощенко тоже проснулся и внимательно наблюдал за происходящим.

Накинув халат, господин на ватных с перепою ногах направлялся в ванную комнату.

Когда он скрылся из виду, Зощенко поднял палец и произнес таинственным шепотом:

- Ходит...

Раз уж пришлось к слову, позволю себе изложить еще два эпизода, связанные с только что упоминавшейся малопривлекательной личностью.

Многозначительность, даже респектабельность этому господину придавала его запоминающаяся внешность, а именно, живописная прическа - ниспадающие чуть ли не до плеч окрашенные благородной сединой локоны.

Поэт и мыслитель - не иначе!

И вот как-то за пиршественным столом (все в том же Питере) отец обратился к нему с заманчивым предложением:

- Давайте поступим так: вы отправляетесь в парикмахерскую и там вас стригут наголо, а за это вы получаете деньги.

- Сколько?

- Не мало.

- Сколько же?

- Две тысячи!

- Ого!

Да, в те времена это были большие деньги, тем более для такого в общем-то пустого случая. Требовалось все лишь побриться наголо.

Ведь не навсегда же, а лишь на время. Волосы-то отрастут!

Господин порозовел от волнения.

- А кто мне даст эти деньги?

- Я,- ответил отец. - Соглашайтесь.

- А у вас есть эта сумма?

- Разумеется.

Отец извлек из кармана пачку денег, отсчитал две тысячи и положил их на стол.

- Все очень просто: пострижетесь, и деньги ваши!

Из розового тот превратился в красного.

- Мы свидетели, - сказал кто-то из собутыльников. - Идите, а мы присмотрим за вашими деньгами.

Все ждали.

Поэт и мыслитель бросился было к выходу, но остановился, на мгновение задержался у открытой двери и бледный вернулся к столу.

- Ну, что же вы!

- Не буду стричься! Оставьте деньги себе!

А вывод отец делал такой: упомянутый персонаж никак не мог постричься, потому что остаться без волос было для него равносильно самоубийству.

Достаточно ему было лишиться своей отличительной черты, густых благородных седин, как и вся личность точно по волшебству рассыпалась бы и вместо романтической значительности остался бы пшик.

И второй эпизод.

Однажды в небывалом ажиотаже и волнении седовласый мыслитель появился в компании и с порога провозгласил:

- Я въехал в Кремль на "Пежо"!

- А выехал на "жопе" (с ударением на последнем слоге), - немедленно раздался насмешливый голос отца.

Главной притягательной силой во время того нашего приезда в Ленинград был Эрмитаж. Причем не весь бесконечный музей, а несколько залов на третьем этаже, где выставлены работы великих французских импрессионистов.

Прежде чем добраться до импрессионистов, мы, разумеется, прошли по гулким и малолюдным залам знаменитого на весь мир музея, собравшего в своих стенах бесценные произведений

мирового искусства.

В скобках отмечу, что обычно Эрмитаж наполнен посетителями, а в просторном вестибюле как правило бывает настоящая толчея. Но вот в тот раз здесь было пустынно, словно бы судьба пожелала ни в малейшей степени не мешать свиданию с удивительными полотнами.

Конечно же, огромные, в широких вычурных рамах, потемневших от времени, полотна голландцев, - да и не только голландцев! - впечатляли.

Многие из них в действительности и не были столь уж огромными, а, были, можно даже сказать, среднего размера, но емкие фигуры и предметы, удивительно высвеченные, словно бы с напряженным вниманием выглядывающие из гениального сумрака, существовали вне каких бы то ни было рамок.

Мы молча переходили от картины к картине, из зала в зал, будто бы даже не обращая внимания друг на друга, но я чувствовал, что весь нахожусь под влиянием отца, ловил его взгляды и изменяющееся выражение лица, приостановки или ускорения у той или иной работы.

В частности, именно отец каким-то чудесным образом заставил меня вглядеться в картину Тициана "Последняя вечеря", где удивительным, волшебным образом смешивается искусственный свет догорающей свечи с естественным светом наступающего утра, проникающим сквозь щель в дверях...

Импрессионизм, да и только!

Но вот наконец мы стали подниматься по светлой лестнице на третий этаж, и тут словно что-то ударило в душу, глаза широко раскрылись, и уже не гениально изложенная жизнь, а сама жизнь, яркая, отчасти корявая, не очень даже приятная, задевающая за живое, вдруг показала себя в ясных, отчетливых прямоугольниках, скромно развешенных по скромным, чуть ли не учрежденческим стенам.

Лондонские мосты и туманы Клода Моне, таинственные красавцы и красавицы Ренуара, французские мужчины Сезанна, балерины Дега, танцующие фигуры Матисса...

Здесь я отчетливо осознал, какое искусство близко моему отцу, что доставляет ему наслаждение и, может быть даже, к чему он стремится в своем творчестве.

Вспомнился довольно странный и смешной случай, который произошел в те времена.

Под "теми временами" подразумевается эпоха социализма.

Дело было летним днем в дачном поселке Переделкине, так называемом "городке писателей", в конце семидесятых, а может

быть и начале восьмидесятых годов.

Сильных отличий одного года от другого не наблюдалось, разве что какой-то год предшествовал очередному съезду "нашей родной коммунистической партии", а другой (или чреда других) - следовал за ним.

Сама же жизнь двигалась со скрипом, оставаясь неизменной.

Изменялось лишь то, что никак не могло не изменяться - человеческое тело старело, деревья мертвели и засыхали, строения ветшали и приходили в негодность.

Так вот, мы с отцом по обыкновению гуляли по Переделкинским улица - делали "круг", иногда отступая на пыльную обочину, чтобы пропустить очередной автомобиль. Мы словно бы парад принимали. Вот проехал какой-то дачник с примелькавшимся лицом, а вот бледный горожанин в пиджаке и при галстуке.

Сотрясаясь и щедро выплескивая влагу, прогромыхала ассенизаторская бочка.

Иногда тот или иной автомобиль подвергался нелицеприятному анализу.

Иногда же мирно пропускался.

Издалека завидев очередной автомобиль, мы отошли в сторонку - тут как раз оказался въезд в адмиральскую дачу.

- Ну, проезжай же... - притворно сердясь, проговорил отец.

Поравнявшись с нами, "уазик" остановился и из окна с опущенным стеклом высунулся распаренный от жары водитель, мордатый парень в "бобочке" и с ужасно озабоченным лицом.

- Это Переделкино?

- Переделкино.

- Городок писателей?

- Городок писателей.

- Не подскажете, где здесь склад?

Он нас спрашивал, а мы наперебой отвечали. До сих пор все шло хорошо. Но тут произошла заминка.

- Какой склад?

- Ну как какой? Склад и склад.

Тут во мне проснулось какое-то понимание. Я с детства знал и очень любил литфондовский склад, где выписывались и покупались разные интересные товары - электрические провода, доски. фанерки, гвозди и так далее. и тому подобное.

- Литфондовский склад, что ли?

- Ну да! - воскликнул парень с облегчением. - Литфондовский, верно! Так и сказано!

- Ну так это совсем просто. Склад находится на улице

Погодина, в сторону кладбища. Вам надо развернуться и...

Я подробно стал объяснять водителю, как проехать к складу. но тут в разговор вступил папа.

- А есть и второй склад, на улице Лермонтова. Можете не разворачиваться, а ехать прямо, потом свернете направо, на Гоголя, а потом еще раз направо, на Лермонтова. Совсем близко.

Терпение у водителя лопнуло.

- А пленку куда вести - на Погодина или на Лермонтова?

- Какую пленку?

- Обыкновенно какую, - обиделся водитель. - Магнитофонную...

- Магнитофонную ленту? И много?

- Как много? - переспросил парень. - Несколько коробок...

Мы с папой не удержались и начали хохотать, а водитель в недоумении отправился разыскивать склад, чтобы сдать несколько коробок магнитофонной пленки. Всю дорогу до дома мы фантазировали, как же эту магнитофонную ленту будут использовать в городке писателей...

Уже стало общим местом утверждение, что все выдающиеся писатели и поэты России двадцатого века - дети революции. Разумеется, это так. Другое дело, как революция отнеслась к своим детям. Она относилась к ним бездушно и жестоко, отправляя на казни и каторгу, коверкая судьбы.

Отец как-то рассказал мне о старом революционере, которого знал по Одессе. До революции это был водитель трамвая.

Кстати сказать, трамвай появился в Одессе чуть ли не первым во всей России.

Так вот, этот человек за свою революционную деятельность получил длительный тюремный срок, а затем был сослан на каторгу в Сибирь, где провел много лет.

Он участвовал в установлении новой - советской - власти в Одессе и когда власть была установлена, отказался от политической деятельности и вернулся на свою главную, так сказать "гражданскую" работу - кондуктором трамвая.

Так должны поступать истинные революционеры - считал отец, проявляя тем самым свой революционный романтизм и идеализм.

Жизнь показывала, что, придя к власти, никто не отдает ее другому, напротив, вцепляется в нее мертвой хваткой, борется за власть до последней капли крови. Таким образом борьба за идеалы превращается в борьбу за личное положение. Этого, конечно, по глубокому убеждению писателя, быть не должно,

однако же было...

Как-то я вез отца на автомобиле по Тверскому бульвару от Никитских ворот к улице Горького.

Бульвар по протяженности небольшой, но очень емкий, каждое здание по обе его стороны несут в себе память о крупных людях и значительных событиях.

Этот бульвар, конечно же, навечно связан с именем Пушкина.

Ну, разумеется, "Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар".

Драматический театр имени Пушкина, бывший театр Таирова. Тут же неподалеку, на Малой Бронной, одноименный театр (то есть театр На малой Бронной). В этом здании находился театр Сатиры, а еще раньше - Еврейский театр, руководимый Михоэлсом.

Ясное дело, неподалеку церковь, где венчались Пушкин и Наталья Гончарова.

В конце бульвара - или в начале, как смотреть, - памятник Пушкину.

Так сложилось, что все наиболее значительные и интересные сведенья о Тверском бульваре я узнавал из уст отца, для которого этот район Москвы был почему-то особенно дорог.

В тот день, о котором я вспоминаю, на своем законном месте памятника уже не было, он переселился на другую сторону улицы Горького.

Итак, проехали здание ТАСС а, миновали старинный особняк, где, по приданию, Пушкин познакомился с Наталией Гончаровой, проехали еще немного, и тут отец вдруг оживился.

- Вот именно здесь мимо нас с Ильфом проехал тот трамвай.

Я и сам помню, как здесь ездили по рельсам трамваи, прижимаясь к бульвару и как встряхивало автомобили, когда колеса съезжали с асфальта на неровный булыжник.

Но что значит - "тот" трамвай?

Отец рассказал, как они однажды шли с Ильфом по тротуару (именно по тротуару, а не по дорожкам бульвара). Их обогнал трамвай, остановился на очередной своей остановке, кто-то вышел из вагона, кто-то зашел в него, двери закрылись и трамвай тронулся в дальнейший путь.

В заднем окне последнего вагона виднелся печальный человек в шляпе, который в задумчивости смотрел перед собой и ничего не видел. В мыслях он был далеко.

Трамвай медленно но верно удалялся.

Ильф проводил его взглядом и проговорил:

- Еврея увозят.

Потом, когда мы с отцом добрались до места нашего назначения (а мы в тот раз направлялись в кафе - мороженное "Север" на улице Горького неподалеку от пересечения с Тверским бульваром) и устроились за столиком перед шикарными высокими порциями фирменного мороженного, залитого вареньем, отец вспомнил еще одну реплику Ильфа.

Они гуляли как-то весной по Арбату и, проходя мимо Зоологического магазина, обратили внимание на некое объявление, написанное химическим карандашом на листке из школьной тетрадки и наклеенное на стекло входной двери.

На листке значилось: "Прилетели и поступили в продажу скворцы".

Ильф прочел вслух это объявление и заметил:

- Скажите-ка, не успели прилететь и уже поступили в продажу...

И еще об одной фразе, сказанной как-то Ильфом.

Дело было в ресторане, может быть в доме актера или в центральном доме работников искусств. К столику, за которым сидели отец, его брат Евгений Петров и Илья Ильф, подошел развязный молодой человек и задал какой-то вопрос.

Отдаю себе отчет в том, что описание эпизода только бы выиграло, если бы прозвучавший вопрос был дословно процитирован, а имя молодого человека названо. Увы, содержание вопроса мне неизвестно. Может быть и никакой вопрос не прозвучал, а молодой человек успел лишь поприветствовать сидящих за столиком друзей и соавторов.

Ильф, Петров и Катаев как раз в это время купались в лучах славы удачной постановки их пьесы "Под куполом цирка" в Московском Мюзик-холле.

Что же касается имени молодого человека (он, кстати сказать, был сочинителем песенок) то оно, на мой взгляд, не имеет значения. Пусть в этом рассказе и в истории он останется просто "молодой человек".

Так вот.

С появлением постороннего разговор за столиком прекратился, и в наступившей тишине отчетливо прозвучали слова Ильфа, обращенные к молодому человеку:

- Между нами (жестом он показал за сидящих за столиком) и вами - пропасть, полная говна!

Рассказал о нашей с отцом поездке по Москве и тут же вспомнил еще об одном "сюжете" в творчестве Катаева:

"Катаев и Москва".

Разумеется, сюжет не только в творчестве, но и в судьбе.

Роман "Алмазный мой венок", нашумевший в год его публикации в журнале "Новый мир" и продолжающий горячо обсуждаться и в наши дни, не что иное, как роман о видоизменении великого города, об исчезновении не только отдельных домов, но целых кварталов и даже районов, о появлении новых улиц и проспектов, прорезающих, точно торт, городские массивы, о возникновении новых пригородов и так далее, и тому подобное...

Отец с острым интересом наблюдал за малейшими изменениями в городе, и было очевидно, что Москва близка ему, он с ней сроднился и, восхищаясь безусловными достижениями градостроительства, он порой глубоко страдал от бездарных решений, оголяющих и уродующих уникальный город.

Одессу он знал изнутри, Одесса для него была данность, а Москву он обследовал и изучал. Одесса была настолько близка ему, что он позволял себе иногда помещать персонажи своих произведений в такие городские или пригородные районы, о которых слышал, но которые никогда не посещал.

Он мне как-то признался, что никогда в жизни не был в одесском пригороде Ближние Мельницы, куда поселил одного из героев повести "Белеет парус одинокий" дядю Гаврика Терентия и его семью.

В этом пролетарском районе одесскому гимназисту, сыну преподавателя нечего было делать.

Другое дело - Москва.

Здесь каждый закуток несет в себе историческую память о людях и эпохах. Одно только название улицы способно воскресить чуть ли не во всех бытовых подробностях какое-нибудь древнее событие.

Скажи, например, Ордынка, и воображение незамедлительно доставит во времена татаро-монгольского ига, Чингиз-хана, Батыя, Золотой Орды...

Заговорил об Ордынке, потому что с самого рождения жил неподалеку, в Лаврушинском, одном из Замоскворецких переулков, между Ордынкой и Полянкой, рядом с переулками Толмачевским, Кадашевским, Старо монетным...

Мы с отцом исходили пешком все эти улочки и переулки, страшно запущенные, обшарпанные, с захламленными двориками, полу развалившимися церквушками с продырявленными куполами, убогими деревянными домами, покосившимися и совсем казалось бы непригодными для житья.

Однако там жили.

По молодости лет я всю эту разруху относил к только что закончившейся войне, и лишь много лет позже понял, что за военные разрушения в Москве принимал убожество и запустение, которые копились и преумножались со времен Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны.

В романе "Святой колодец", действие которого происходит в том числе и в Москве, описывая один из таких убогих уголков столицы в районе Дорогомиловского рынка и Киевского вокзала, отец нашел точную метафору эпохи строительства социализма - новостройка, ветшающая по мере ее возведения.

И никогда ей не быть новой!

То есть отец заметил, что в самом стиле жизни уже заложена разруха.

Как-то в семидесятых годах отец побывал в Баку, где проводился очередной слет знаменитых советских писателей, который как всегда был обставлен очень торжественно, осенен присутствием высокого партийного руководства и сопровождался экскурсиями на передовые предприятия, являющиеся гордостью не только принимающей республики, но и всего многонационального Советского Союза.

К самому главному достижению тогдашнего социалистического Азербайджана, "Нефтяным камням", прибавился в тот год первый и единственный на всю нашу великую страну комбинат по производству бытовых кондиционеров.

Вернувшись из Баку, отец рассказывал, как их, будущих экскурсантов, готовили к посещению. Им все уши прожужжали, что предприятие оснащено новейшим японским оборудованием и отвечает самым строгим мировым стандартам.

Кроме того, он крупнейший в мире.

Да, действительно, комбинат отгрохали огромный, но построен он кое как, сикось-накось, стены кривые, отделка сыпется, а новейшее оборудование не хочет работать, потому что смонтировано не японскими специалистами, а местными умельцами.

Отец был раздражен и расстроен.

Наши с папой прогулки по Москве, как правило, имели определенную цель.

На улице Пятницкой как-то году в сорок пятом или сорок шестом он купил с рук у инвалида войны два батона.

Очень хорошо помню, как совершалась эта торговая сделка.

Инвалид высоким, задиристым голосом назначил цену - по тридцать рублей за батон.

- Идет?

- Идет!

Отец достал из кармана пиджака две красные "тридцатки" с овальным портретом Ленина и протянул их продавцу. Тот в свою очередь протянул два завернутых в газету батона, которые до того надежно помещались у него за пазухой.

Продавец был слепой и опасался, что его обманут.

За сделкой наблюдала мгновенно образовавшаяся небольшая веселая толпа зевак. К ней за поддержкой и обращался продавец, поворачивая на звук голосов безглазое лицо.

Понятно, что я с детским любопытством и одновременно ужасом изучал это опаленное войной лицо...

Вот батоны оказались в руках покупателя, а деньги в руках продавца.

- Без обмана? - прокричал продавец.

- Все верно! Без обмана! - отвечала толпа.

И через мгновение мы с отцом - я крепко держал его за руку - уже шли по направлению к дому мимо обшарпанной церкви, построенной архитектором Растрелли.

А вот еще одна прогулка.

Помню, мы зашли на станцию метро Новокузнецкая, все на той же Пятницкой, спустились на длинном эскалаторе в нижний вестибюль и, задрав головы, любовались мозаичными картинами, выполненными папиным приятелем художником Александром Дейнеко, творчество которого отец любил и высоко ценил.

Мозаики были точно окна в какой-то праздничный яркий мир синего неба, самолетов, знамен и праздничных салютов.

Мне были знакомы картины Дейнеки по Третьяковской галерее, куда я, школьник младших классов, пользуясь благосклонностью контролеров, чуть ли не ежедневно проходил без билета и бродил по залам, рассматривая любимые полотна.

В числе любимых были большие и яркие полотна Дейнеки, и в частности картина, изображающая синее море, угловатый гидроплан, летящий так низко, что его можно было рассмотреть во всех подробностях, и спины двух голых мальчишек, сидящих на парапете и наслаждающихся жарким солнечным днем, водой и авиацией.

Я столь подробно рассказал об этом живописце, потому что с некоторых пор у меня возникли с ним сугубо личные отношения.

Как-то ранним утром перед школой раздался звонок в дверь и в коридоре - прихожей появился папа с довольно большой картиной, которую он, неловко растопырив руки, держал перед собой.

Вид у папы был потрепанный, от него попахивало вином.

Не раздеваясь он прошел в свой кабинет, поставил на не разобранную кушетку картину, отошел в сторону и с восторгом воскликнул:

- А? Хорошо?

На картине, какой-то очень грустной, щемящей изображены были несколько коров, коричневых и пятнистых, идущих по хлипкому мостку через узенькую речушку, в которой и отражались вверх ногами.

А невысоко над темным лугом на серовато голубым утреннем (или вечернем?) небе висела большая розовая луна.

- "Коровы" Дейнеки!

Все объяснялось просто. Отец был в мастерской приятеля, они засиделись до утра и на прощанье художник подарил ему одну из своих превосходных работ.

Каким-то чудесным образом новая картина в нашем доме легко сочеталась с уже давно живущими здесь работами Тышлера, "Севастопольским морским пейзажем" Лентулова и копией Марке.

Можно заметить, не всякое произведение живописи приживалось в нашем доме.

Очень странное впечатление производила темная, почти черная, картина в вычурной золотой раме, написанная на медном листе и изображающая романтическую бухту и старинный фрегат с мачтами и парусами - все очень тревожное и невнятное.

Картина была подарена родителям одним вельможным писателем в связи с моим появлением на свет.

Она считалась моей.

Так вот, она так и не прижилась в доме, была отправлена в Переделкино, некоторое время висела почти невидимая в столовой над высоким и мрачным буфетом, потом переехала на чердак и исчезла после одного из дачных ремонтов.

Кажется, никто о ней, кроме меня, и не вспомнил.

С "Коровами" Дейнеки у меня навечно связано представление о раннем утре, правда не летнем (как на картине), а зимнем, когда и в доме, и не улице еще темно, фонари горят, но уже не ночь, закутанные прохожие торопливо идут по заснеженным улицам, слышны настойчивые скребки дворников, и ты тоже вынужден плестись в школу по пустынным замоскворецким переулкам - всего по двум - Толмачевскому и Старомонетному вдоль замоскворецких старинных домиков, пришедших в упадок и ветхость.

Но ты-то их другими и не видел никогда!

Вот как-то однажды я и шагал так в школу, раскачивая в руке портфель, который время от времени "шкрябал" по стенам.

Прошел один переулок, свернул в другой, начал приближаться к школе.

И тут услышал:

- Павля!

Так меня папа называл в детстве.

Оборачиваюсь - папа.

Бодрый, свежий от утреннего морозца, но видно, что только-только проснулся, еще не вполне готов к жизни, небритый.

Я был ужасно удивлен его неожиданным появлением здесь. В такое время суток он бы еще должен спать. Он и спал, когда я уходил из дома!

- А я вот решил посмотреть, как Павля в школу идет.

Он довел меня до ступенек, ведущих к школьным дверям, весело махнул рукой, повернулся и деловито зашагал по переулку назад, к дому.

Какие мысли вызвало у меня тогда только что описанное событие из детства?

Это было странно, но ведь он был не только мой отец, но и писатель...

Вспоминая о своем сотрудничестве в "Гудке", отец с воодушевлением рассказывал о том удивительном доме на левом берегу Москвы реки неподалеку от Кремля, где тогда, в двадцатые годы, располагалась редакция железнодорожной газеты.

Это огромное, вытянутое вдоль берега здание, украшенное колоннами и увенчанное крышей со шпилем, было построено в свое время как городской приют для бездомных.

При этом обширный зеленый парк, конечно же теперь сильно запущенный, окружающий само здание и его флигеля, обнесенный чугунной оградой, вызывал у меня ошибочное представление о том, что бездомными были графы и князья.

А кто же еще!

Подсознательно, я, советский мальчик, не мог даже подумать, что здесь обитали самые обычные несчастные люди, лишенные крова и средств к существованию...

Но особенно сильное впечатление произвел рассказ отца о том, что во время знаменитого пожара Москвы двенадцатого года Наполеон устроил здесь конюшню.

Что-то было волнующе-тревожное в этом факте, он словно бы излучал историю: тут и французская конница, вытеснившая из приюта его скромных обитателей, загадившая и раскурочившая копытами прекрасные полы, тут и император Наполеон, сначала

занявший российскую столицу а затем с позором из нее убежавший, тут и величественный непобедимый Московский Кремль.

Все это было когда-то.

Ну, а после революции вместо приюта и вместо конюшни здесь были размещены десятки, а может быть даже и сотни советских контор, в том числе газета железнодорожников "Гудок".

Редакция "Гудка" и в частности так называемая "четвертая полоса", в которой сотрудничали удивительные люди, талантливейшие журналисты и писатели, весельчаки и острословы, - особый сюжет в жизни Валентина Катаева.

Если получится, я позже расскажу и об этом.

А сейчас, чтобы не забыть, - небольшой эпизод из московской жизни тех лет, далеких двадцатых, жизни моего отца и его младшего и единственного брата Жени Катаева, в недалеком будущем - Евгения Петрова, написавшего в соавторстве с Ильей Ильфом романы "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок", а так же пьес, книг, рассказов, большое количество газетных фельетонов.

Отец писал тогда фантастический роман "Повелитель железа", который изо дня в день печатался подвалами в какой-то газете.

Готовые отрывки публиковались, что называется, с пылу, с жару.

Отец каждое утро садился за письменный стол и сочинял очередной кусок, после чего относил его в редакцию.

А младший братец Женя томился рядом, не зная чем бы ему заняться.

Он переехал по требованию старшего брата из Одессы в Москву и мыкался без работы, а следовательно и без заработка, потому что время было тяжелое, царила безработица.

На юге Женя был сотрудником уголовного розыска, боролся с бандитами, постоянно рисковал жизнью, и его старший брат места себе не находил от тревоги.

В Москве угрозы жизни не было, но нужно было как-то устраиваться, что оказалось чрезвычайно трудно.

Отец переживал за брата. Конечно, хорошо было бы, если бы Женя занялся газетной работой. Но это были лишь туманные мечты.

И вот однажды отец решительно встал из-за стола, на котором лежал лист бумаги, заполненный менее чем на треть очередным куском нового романа, и позвал младшего брата.

- Вот что, Женя. Я пойду за папиросами, а ты тем временем продолжи мою работу.

- Как продолжить?! - возмутился Женя. - Я не умею. И вообще я не знаю, о чем писать!

Отец рассказал ему сюжет задуманного, но ненаписанного романа, познакомил вкратце с героями и событиями, которые должны будут происходить в дальнейшем, надел пальто и вышел из дома, оставив потрясенного брата одного.

- И чем же это все закончилось?

- Когда через несколько часов я вернулся, - вспоминал отец, - то отрывок был закончен настолько хорошо, что я отнес его в редакцию без правки, и он был напечатан.

Отец вспоминал об этом с воодушевлением и весельем, и в рассказе проглядывала большая любовь к брату и гордость за него.

Гибель Петрова была страшным ударом для отца.

Отец никогда не делился со мной своим горем, и только лишь после его смерти до меня далеким эхом донеслось горестное восклицание отца по поводу гибели единственного брата.

В воспоминаниях об отце один из его знакомых пишет, что как-то отец, сидя на Коктебельском берегу и разговаривая о погибшем во время войны Евгении Петрове, вдруг обернул к собеседнику искаженное страданием лицо и воскликнул:

- А у вас когда-нибудь погибал младший брат?

В пятидесятых годах на месте гибели Евгения Петрова был установлен памятник, и на его открытие из Москвы в Ростовскую область выезжала делегация писателей. Поехал туда и отец, но он никогда не рассказывал об этой поездке.

У меня сложилось убеждение, что отец готов говорить о живом брате, но никогда - о мертвом.

Чистые и Патриаршие пруды.

Это были самые, пожалуй, любимые отцом районы Москвы.

В районе Чистых прудов находилась его по существу первая в новом для него городе квартира, в Мыльниковом переулке.

Патриаршие же пруды связаны с любовным романом.

Мы с отцом неоднократно бывали на Патриарших прудах, и всегда я замечал, что отцу здесь хорошо, и он с удовольствием вспоминал какие-то случаи из той, теперь уже далекой своей жизни в двадцатых годах - сумбурной, веселой и одновременно тревожной, которая осталась в памяти, как сказка.

Что и говорить!

Слушая папины рассказы о том, как можно было прийти в казино, поставить деньги - крепкие советские червонцы, выиграть

и на выигрыш купить еды и выпивки на всю компанию, я испытывал чувство восторга и зависти.

Как это ни странно (а может быть вовсе и не странно, а вполне естественно) эти истории дышали свободой.

Случались и проигрыши, и все поставленное на кон исчезало в небытие. Но и возможность проигрыша была прекрасна - ведь никто же тебя не понуждал, ты сам распоряжался и своими деньгами, и своими поступками.

В зимнюю стужу здесь, на расчищенном от снега пруду (одном из Патриарших, ведь в названии присутствует множественное число), катались конькобежцы, со свистом и скрежетом разрезая лед, а возле одного из деревьев парка, окружающего каток, "тринадцатого с краю", влюбленный отец ждал свою подругу.

Было очевидно, что речь идет вовсе не о сожалениях о прошедшей молодости.

Произошли невосполнимые утраты, и жизнь, которая могла бы стать - и бывала - ярким праздником, скатилась к скуке и унынию. Я это очень остро ощущал, но понимал при этом, что та жизнь не исчезла, а во всей своей полноте осталась в душе отца...

В его произведениях все это есть.

Одной из характерных черт изменения лица города явилось появление новых памятников и перестановка или даже уничтожение старых.

Чувствовалось, что это раздражало отца, потому что соображения властей, в силу которых подобные изменения происходили, были как правило вульгарны и не имели никакого отношения к искусству (а ведь памятники были произведениями большого искусства).

Напротив, в большинстве случаев, прекрасная скульптура заменялась помпезной и бездарной поделкой.

Как-то отец даже написал по этому поводу довольно резкую статью.

В числе прочих фактов он осудил и высмеял перестановку памятника Пушкину - его перевезли с Тверского бульвара, куда он был водружен народом (памятник создавался на пожертвования москвичей) и где он стоял лицом к снесенному советскими властями Страстному монастырю, на противоположную сторону улицы Горького.

И разумеется, отец не мог, как говорится, пройти мимо замены памятника Гоголю на Гоголевском бульваре.

Печальную скульптуру страдающего писателя, укутанного платком, из под которого торчал знаменитый гоголевский нос, работы Андреева, перевезенную и задвинутую в городской дворик

неподалеку, заменил могучий постамент с бодрым и веселым мраморным сатириком, высокомерно, как и подобает великому классику, взирающему сверху вниз на почитателей его таланта.

Это происходило в сталинскую эпоху и было следствием решения вождя.

Очень хорошо помню одно чудесное солнечное переделкинское утро, когда мы с отцом остановились у дачи Чуковского, который как раз выходил из своей калитки.

Корней Иванович по своему обыкновению светски улыбался, всячески выражая радость от неожиданной встречи, что вовсе не следовало принимать за чистую монету, но и в действительности он чрезвычайно обрадовался - его переполняло желание поведать кому бы то ни было что-то очень важное.

И тут мы подвернулись.

Корней Иванович, любезно ссутулившись и разводя руками, рассказал нам свежий анекдот, связанный как раз с заменой памятника Гоголю.

Вот этот анекдот.

Старый москвич возвращается домой из длительного путешествия и спрашивает, что произошло за время его отсутствия в городе. Ему начинают перечислять различные перемены - кто-то женился, у кого-то родился ребенок, и так далее и тому подобное, и заканчивают словами:

- И еще у нас Гоголя выпрямили.

Чуковский закончил рассказ, и оба как бы весело, но с заметной издевкой рассмеялись.

Кстати сказать, статью о московских памятниках отцу из редакции газеты вернули.

Переставляли не только памятники, но и целые дома.

Это называлось передвижка зданий.

Мне самому довелось в течение нескольких дней наблюдать нечто подобное на Пушкинской площади, когда достроили новый корпус редакции и издательства газеты "Известия" и решили отодвинуть в сторонку заслоняющий новостройку трехэтажный особняк в стиле модерн, который некогда принадлежал издателю Сытину, а в советские времена там располагалась редакция газеты "Труд".

Зрелище было любопытное.

Под фундамент подвели какие-то особые балки, чуть ли ни рельсы проложили, впрягли могучие тягачи и метр за метром здание передвинули.

Все было сделано тихо и элегантно.

А вот в тридцатые годы - или даже в конце двадцатых - подобные манипуляции сопровождались клубами пыли, треском и, порой, разрушениями.

Эти сведения я почерпнул из комедии "Домик", написанной моим отцом.

Сюжет пересказывать не буду, но во время одной из картин этой пьесы в ремарке сказано, что по городскому радио передается репортаж с места события, то есть от дома, который собираются передвинуть. И не успевает радиожурналист объявить о начале процесса, как из черной тарелки вырываются жуткие звуки ломающихся перекрытий и голос обрывается на полуслове.

Особенно много домов было сдвинуто на Тверской: главная улица города расширялась, чтобы дать место автомобилям, которых становилось все больше и которые вытесняли конный транспорт - грузовые платформы, телеги, повозки, экипажи, называвшиеся "ваньками".

Когда отец приехал в Москву, Тверская была довольно узкой улицей. Знакомые, встречаясь, могли спокойно переговариваться через проезжую часть с тротуара на тротуар, не повышая голоса.

В Камергерском переулке находился Художественный театр, так что в этой части Тверской можно было легко встретить тогдашних великих, направляющихся на репетицию или на спектакль.

Отец появился в этой части города в конце двадцатых, когда Художественный театр заинтересовался "Растратчиками" и заказал ему эту повесть инсценировать.

Что и было сделано.

Отец очень смешно рассказывал, как на репетициях недоумевал Станиславский, когда персонажи пьесы, чтобы попасть домой, должны были нажимать один из десятка звонков у дверей квартиры.

Зачем же такое количество звонков?

Великий режиссер никак не мог взять в толк, что это за вещь такая - коммунальная квартира, и почему в ней живет не одна семья, а несколько.

От отца я услышал смешную историю о Станиславском, который рассердившись на кого-то из тогдашнего советского начальства пригрозил, что пожалуется Лукичу. (Вместо - Ильичу), но Константин Сергеевич в таких тонкостях не очень-то и разбирался.

Вслед за "Растратчиками" в Художественном театре была поставлена комедия отца "Квадратура круга".

Постановка имела огромный зрительский успех и прошла

на прославленной сцене сотни раз.

Отец мне много рассказывал об этой пьесе и об этом спектакле, об озорстве прекрасных мхатовских актеров, о замечательной режиссерской работе Горчакова.

Он мне не рассказал, потому что, возможно, это высказывание до него не дошло, шутливое, отчасти ироничное определение репертуара Художественного театра, данное в то время Маяковским - "Вишневая квадратура".

То есть здесь соединены названия пьес "Вишневый сад" и "Квадратура круга".

"Левый" Маяковский, по словам отца. в силу своих художественных убеждений и творческих пристрастий не мог посещать столь традиционный театр. Он даже свою возлюбленную, актрису этого театра, поджидал на улице, неподалеку, не входя в помещение. Однако же следил и интересовался его репертуаром.

Отец и сам, по его признанию, приехав в Москву, никакого интереса к Художественному театру не испытывал и до поры до времени даже не знал, где он расположен.

Однако же судьба распорядилась иначе, и связала отца творческой и личной дружбой со многими артистами Художественного театра.

В числе бесчисленного множества фактов, хочу рассказать об одном случае, который произошел в начале тридцатых годов.

Короткая предыстория.

Расставшись со своей первой женой, отец некоторое время снимал жилье то там, то сям, пока не поселился, наконец, на Тверской в кооперативной двухкомнатной квартире, купленной на большие авторские за постановки пьес, главным образом за "Квадратуру круга", которая кроме МХАТа широко шла во множестве театров страны.

Не исключено, что именно из своей новой квартиры отец наблюдал, как "передвигают" находившийся на противоположной стороне Тверской дом московского градоначальника, где после революции обосновался Моссовет, и это дало ему "материал" для комедии "Домик".

Бывший дом градоначальника, передвинутый и надстроенный, москвичи так и называют до сих пор Моссоветом.

Молодой богатый холостяк (это я об отце той поры) любил принимать у себя гостей, в чем ему помогала домашняя работница, простая и обстоятельная женщина из ближайшего Подмосковья.

Как правило, закуски приносились из ресторана

"Метрополь" и напитками заведовал приглашаемый из этого же ресторана пожилой опытный официант. Домашняя работница и приглашенный официант пребывали в состоянии постоянного конфликта по поводу тонкостей приготовления блюд, сервировки стола и так далее и тому подобное.

Признаюсь, я с замиранием сердца и с восторгом слушал подобные истории, ибо они - ну никак! - не сочетались с окружающей меня суровой социалистической действительностью. То есть суровая социалистическая действительность начинала окружать меня, лишь только я выходил из дома на улицу.

В отчем же доме же ее не наблюдалось.

Впрочем, тогда меня еще не было на свете...

Как правило пиры бывали бурные, веселые и нередко заканчивались сильными возлияниями.

И вот однажды отец решил пригласить к себе в гости своих друзей-актеров Художественного театра после окончания спектакля. Публика была пьющая, но именно на это раз они сговорились не пить. Не в том смысле, что вообще отказаться от алкоголя, но обойтись без водки, а ограничиться сухим белым вином.

Отец перед уходом по делам дал домашней работнице распоряжение о закуске и наказал купить к вечеру два коробки белого вина.

Когда незадолго до прихода гостей отец вернулся домой, все было готово в лучшем виде. Стол ломился от яств, а коробки с вином ждали своей очереди в прихожей.

Закончился спектакль, и через некоторое время в папиной квартире собрались гости.

Все были оживлены и предвкушали интересное застолье - с вкусными закусками и легким сухим белым вином, от которого не только что вреда не может быть, а одна лишь польза.

- Несите вино, - скомандовал отец и домашняя работница принесла и поставила на стол первые две бутылки.

- Да это же водка! А где же белое вино?

- Вот оно, белое вино! - воскликнула домашняя работница. - Какое еще!

- Она считала, что бело вино - это водка, - объяснил мне отец и добавил: - И вообще для русского народа есть два вида вина. Белое - это водка, а красное - все остальное.

Я поинтересовался, как же закончился тот вечер.

- Как всегда, - ответил отец. - Пили белое...

Мне запомнилась еще одна история, связанная с уже упоминавшимся персонажем - официантом из ресторана "Метрополь".

Однажды он сильно задержался, и когда отец спросил, что с ним случилось, ответил, что никак не мог добраться во время, потому что "какого-то Кирова убили"...

Все "эти безобразия" закончились, когда в квартире появилась Эстер, папина вторая и последняя жена, мать его детей.

В истории нашей семьи сохранилась папина фраза, сказанная им в первые дни совместной жизни с молодой любимой женой.

- Сначала роди мне дочь, а потом - кого хочешь!

Так и произошло.

Первой родилась девочка Жена, а спустя два года, уже в другой квартире, в другом районе города, в Лаврушинском переулке, - мальчик Павлик, то есть я.

Но хочется еще задержаться в квартире на Тверской...

Мне кажется, что здесь, на улице Горького, (после смерти великого пролетарского писателя Тверскую переименуют в улицу его имени), в своей первой и единственной собственной квартире отец был по-настоящему счастлив - он был беззаветно влюблен, у него родилась дочь от любимой женщины, он написал повесть "Белеет парус одинокий", книгу, о которой давно мечтал и к работе над которой все никак не мог приступить.

И вокруг были друзья, талантливые писатели, художники, музыканты, артисты, - острословы и весельчаки, общение с которыми делало жизнь ярче, многогранней, насыщенней.

Тогда они все еще были живы - здоровы, не умерли от болезней, не сгинули в лагерях, не погибли на войне, не были уничтожены властью.

Итак, "Белеет парус одинокий".

Отец сочинял свой знаменитый роман на пишущей машинке, выстукивая одним пальцем буква за буквой, фраза за фразой.

Он не умел печатать, более того, считал, что писать следует только от руки, и всю свою жизнь придерживался этого правила. Но вот "Белеет парус одинокий" вопреки всему был написан на пишущей машинке.

Можно было бы не заострять на этом факте внимания, но в действительности он говорит обо очень многом, то есть он очень много открывает в отношениях моих будущих родителей.

Пишущая машинка "Ремингтон" пришла в квартиру на Тверской вместе с мамой, и отец стремился даже через вещи, ставшие общими, еще теснее соединиться с любимой женщиной.

Да, он привык писать от руки, продолжением которой является кончик обмокнутого в чернила пера, покрывающий

бумагу (писчую бумагу) быстрыми ровными строками, но если ты любишь и в твоей душе живет огромное чувство, то оно может - и должно! - добраться до бумаги и другим путем.

Отец сидел за письменным столом перед пишущей машинкой фирмы "Ремингтон" - изящным прибором с черным резиновым валиком в каретке, затянутым очередным листом пищей бумаги, и прицельно бил пальцем по одной из множества расположенных как бы амфитеатром круглых белых клавиш в металлических ободках с обозначениями всех-всех букв русского алфавита плюс знаков препинания и даже некоторых математических знаков.

А тем временем мама, расположившись в кресле неподалеку, ловко работала спицами, готовя своему первенцу приданное.

Нет, действительно, это было самое счастливое время их жизни!

О чем писал отец в своей книге?

Он мне рассказывал, вспоминая о создании романа "Белеет парус одинокий", что решил написать приключенческую книжку для детей о первой русской революции пятого года, о броненосце "Потемкине", команда которого подняла бунт и который стал символом этой революции, и конечно же о родном городе, где он появился на свет, где прошли его детство и юность и который он бесконечно любил.

Революция пятого года предшествовала Великой октябрьской революции 1917 года, после чего Российская империя с ее казалось бы незыблемым укладом жизни рухнула, рассыпалась в прах.

Вся огромная страна погрязла в нищете и разрухе.

В мерзости запустения оказался и город папиного детства.

Но в памяти и воображении Одесса оставалась все тем же прекрасным городом у моря, и жили в нем все те же прекрасные люди - его папа, преподаватель гимназии, заботливая тетя, заменившая осиротевшему мальчику и его младшему братику рано умершую мать, соседи, гимназические товарищи, гости.

В доме под быстрыми пальцами мамы а потом и тети рождалась и звучала фортепьянная музыка, Шопен и Чайковский...

Кроме того, частенько исполнялись романсы русских композиторов, в частности Варламова - "Не шей ты мне, матушка, красный сарафан" и "Парус" на стихотворение Лермонтова.

Уж не тогда ли слова этого гениального произведения проникли в душу отца и навсегда остались в ней?

Нормальная, хорошо устроенная жизнь в нормальной

хорошо организованной стране.

Мороженное, "сельтерская" вода с пузырьками, бьющими в нос, южные фрукты, "аберкосы", что на литературном русском языке звучало, как абрикосы, дыни, арбузы, новогодняя елка с хороводами и подарками. Летом горожане выезжали на дачи, где можно было загорать под жарким южным солнцем, нырять в прозрачные воды ласкового Черного моря, участвовать в дачных маскарадах, словом, жить и радоваться жизни.

И все же где-то неуловимо присутствовала тревога, разносились слухи о поджогах помещичьих усадеб и экономий, о бунтах в воинских частях, и, наконец, грозная весть о восстании моряков на крупнейшем корабле Черноморского флота - броненосце "Потемкине Таврическом".

Нет, не так все было благополучно и незыблемо, как хотелось думать...

Увы, те - по началу невнятные - предчувствия беды оправдались, и уже никогда, никогда не склеиться разбившейся жизни. Только силой искусства можно поднять на поверхность и показать молодым современникам ту жизнь, что теперь уже навсегда скрылась в непостижимых глубинах.

Собственно говоря, отец и попытался, повторюсь, пусть бессознательно, поднять затонувшую Атлантиду.

Может быть именно это до сих пор и привлекает к книге, написанной в середине тридцатых годов прошлого столетия, внимание и приязнь современного читателя.

Думаю, несколькими фразами не исчерпать сюжета "Катаев и "Белеет парус одинокий", но жизнь писателя была длинной, произведений, в том числе и значительных, было создано много, поэтому ничего другого не остается, как двигаться дальше.

И все же позволю себе еще одно соображение по поводу того счастливого периода жизни родителей.

Ведь то было лишь начало их совместной жизни, которая оказалась очень длинной - более пятидесяти лет.

Она была трудной и совсем не безоблачной.

Прекрасно помню момент, когда мама вдруг очень серьезно и спокойно заговорила со мной, десятилетним мальчиком, о возможном разводе с отцом.

Был обычный день, наша столовая из золотистой карельской березы с большим овальным столом, двумя буфетами, где на полках на английский манер стояли голубые саксонские тарелки, и двенадцатью "чепенделевскими" стульями, была по доброму освещена утренним солнцем.

- Что ты скажешь? - спросила мама.

Помню, я всеми силами души не хотел говорить с мамой об огромной проблеме, вот-вот готовой ворваться в нашу жизнь и разрушить ее.

И я как можно более уверенно и твердо сказал:

- Не надо...

Потом мне мама рассказала, как она твердо и спокойно поставила в известность папу, что забирает детей и уходит, потому что устала и не желает больше терпеть многодневные загулы, непонятных гостей, пьяные скандалы.

Все это было.

- А тебе и не надо никуда уходить, - сказал папа. - Я больше не пью.

Теперь о Переделкине.

Отец получил дачу в сороковом году и с тех пор практически безвыездно прожил там до самой своей смерти весной восемьдесят шестого года, то есть сорок шесть лет.

Но это лишь цифры...

Отец любил повторять, что в Москве уже давно не ночует.

И действительно, довольно часто приезжая из Переделкина в Москву, он почти не появлялся в своей квартире в Лаврушинском переулке, а если и появлялся, то при особых обстоятельствах.

Помню, к примеру, случай, когда ему нужно было поговорить с одним известным, даже можно сказать знаменитым актером, который совместно со своей не менее знаменитой партнершей готовил радиопостановку рассказа "Фиалка" и попросил отца о встрече.

Актер был очень хороший, опытный, и ему требовалось для завершения работы уточнить одну или две детали.

Дело можно было решить буквально за несколько минут, и они сговорились "пересечься" в центре города, на одной из старых тенистых московских улиц, куда без хлопот мог дошагать из своего театра актер и доехать с дачи почти по прямой, не особо крутясь, отец.

Замечу, что за рулем был я.

Так и произошло.

Они встретились в назначенном месте, оживленно поговорили, стоя посреди тротуара возле автомобиля, но вместо того, чтобы распрощаться, оба уселись в машину и здесь уже стали решать, куда бы им поехать завершить разговор в более удобное место.

В результате я привез их в Лаврушинский переулок, мы вошли в пыльную необитаемую квартиру, где кресла и другая мебель были покрыты простынями, и трудно было себе

представить, что когда-то здесь кипела жизнь.

Лишь хорошо знакомые картины воспринимались, как окна, за которыми эта жизнь сохранилась.

Почему я вспомнил именно это посещение квартиры, что в нем было такого значительного?

А то, что ни отец. ни его собеседник вовсе не обратили внимания на обстановку, а устроились рядом на покрытом простыней диване и продолжили свой оживленный обмен мнениями по поводу совместной работы.

И неловкость, которую я испытывал от заброшенности и не уютности родительской квартиры, вдруг развеялась.

Просто напросто это не имело никакого значения.

Разговор закончился, довольные друг другом собеседники, вежливо раскланиваясь, и делая попытки помочь друг другу, поднялись с дивана, и тут отец, юмористически разведя руками, сказал свою любимую фразу:

- Я в этой квартире уже много лет не ночую.

Мы отвезли актера туда, откуда взяли, а сами вернулись в Переделкино.

Упомянутый здесь рассказ "Фиалка" посвящен именно Переделкину, хотя в нем и не дается название подмосковного поселка, где расположен "Дом старых большевиков", в котором доживают свой век верные ленинцы, участники большевистской революции.

Облик именно переделкинского кладбища представился моему отцу, автору "Фиалки", метафорой жизни советской страны: ее население разделено на две части, а по существу, на два народа, соприкасающихся, но отторгающих друг друга, и даже смерть не может соединить их.

Так и лежат они, заполняя две части кладбища, - традиционное, российское, в зелени, цветах, с крестами и бедными холмиками и холодные, точно выложенные по бездушной схеме, ряды одинаковых надгробий на могилах солдат революции, павших в неравной борьбе с врагом.

Они погибают не от пули контрреволюционера, а в глубоко пожилом возрасте от естественных болезней, доживая свой век в комфортабельном приюте для старых большевиков, но все так и не могут понять, что их деятельность принесла непоправимый вред другой части народа и что население, загнанное ими в тоталитарную неволю, действительно воспринимает их, как врагов.

Хотя в рассказе есть сюжет, есть персонажи, есть точные, жесткие взаимоотношения между этими персонажами, главным "героем" рассказа является все же сельское кладбище, состоящее

из двух несоединимых частей.

Как-то мы с отцом совершали свою традиционную большую прогулку по Переделкину.

Вдоль железнодорожного пути прошли к Мичуринцу, даже кажется в тот раз, перейдя через рельсы, дошагали до небольшого озерца по ту сторону железной дороги.

Здесь мы оказывались довольно редко. Но запомнилось это наше путешествие вот почему.

Отец любил вспоминать, как они, молодые литераторы, "играли" в сравнения. То есть без устали сравнивали разные предметы, находя в них сходства, порой очень сложные, а порой простые, даже примитивные.

Эти игры могли длиться часами, но всегда заканчивались одним и тем же выводом.

Отец как-то восторженно и одновременно юмористически вскидывал руки и восклицал, словно бы раз и навсегда закрывая тему:

- Все похоже на все!

Во время той, памятной, прогулки я, не останавливаясь, морочил ему голову своими сравнениями.

Сравнивал деревья, мимо которых мы проходили, собак и коров, попадающихся по пути, искал сходства незнакомых прохожих с нашими общими знакомыми.

Поначалу отец как-то реагировал на мои изыскания - короткими репликами, покашливаниями, иногда беззвучными ухмылками, в которых я тщетно искал одобрения.

Но вскоре он перестал обращать на меня внимания, и я работал так сказать вхолостую.

Не доходя до озера, мы остановились.

Прежде чем повернуть назад, я посмотрел на чистое летнее небо, словно бы выгоревшее от солнца, не удержался и сказал, что белые высокие облака напоминают не только рентгеновский снимок, но так же и крыло птицы.

Отец взглянул на небо, и доброжелательно заметил:

- Это верно.

Я возликовал. Наконец-то мои труды получили достойную оценку мастера!

А отец добавил:

- Не даром же такие облака называются перистыми.

Могу с точностью до месяца назвать время начала наших с папой самых первых прогулок по Переделкину - октябрь или ноябрь сорок третьего года.

Летом мы все вместе прожили на даче, а к сентябрю семья

разделилась - родители и сестра Женя перебрались в город, а мы с бабушкой, маминой мамой, и двоюродным братом Левой остались зимовать в Переделкине.

Левин папа, муж маминой старшей сестры, профсоюзный работник, погиб в Московском ополчении в первые же месяцы войны.

Моей сестре Жене еще весной исполнилось семь лет, и ее вольная жизнь заканчивалась. Ее должны были отдать в школу. Мне же было только лишь пять лет, а Леве и того меньше - четыре.

Помню темный и холодный августовский вечер накануне сентября, почти ночь.

Родители и Женя вышли за ворота дачи, захлопали дверцы автомобиля, и я остался один-одинешенек в неуютном, продуваемом ветром, режущим под коленками гамаком, натянутым между двух молодых елок.

Один в тревожной, неуютной, холодной ночи, среди сырого леса и с обидой в душе на тех, кто так жестоко бросил меня.

Кто же эти жестокие люди?

Это мои родители, мама и папа!

Была бы обо мне книжка, поведал бы более подробно о своем душевном состоянии и во всех тонкостях проанализировал свое тогдашнее отношение к людям, которых я считал родными и которые так поступили со мной.

Но книга - об отце, и мне остается перешагнуть через обиду, потому что очень скоро острое чувство обиды рассеялось, а в душе и в памяти осталась лишь острая грусть разлуки, за которую я до сих пор до слез благодарю судьбу.

Наверное этот пассаж следует вычеркнуть, но уж Бог с ним, пусть остается - наверное и он сможет пролить хоть какой-то свет на жизнь нашей семьи, и, в частности, отца.

Пожив немного в городе, он, оставив маму и сестру, вернулся на дачу, в свой кабинет, который тогда находился не на втором этаже, а на первом, где потом была (и до последнего времени оставалась) столовая, и работал там, иногда выезжая в Москву и в командировки на фронт, потому что война все еще продолжалась и продолжалась.

Теперь-то понятно, что прогулки с папой были тогда довольно короткими, но ведь мы с Левой были маленькие и поход до Самаринского пруда и обратно воспринимался нами, как далекое, трудное путешествие.

Что же говорить о походе на станцию!

Проселочная дорога шла вдоль поля, спускалась к речке.

Здесь был деревянный мост через речушку Сетунь, сотрясающийся до основания, когда по нему проезжал, дребезжа, редкий грузовик.

Во время весенних паводков его даже несколько раз сносило.

Потом дорога поднималась вверх, огибая грустное кладбище с православными крестами и бедными памятниками над заросшими травой могильными холмиками, скромно расположившееся среди стройных розовых сосен.

Папа бодро вышагивал, иногда словно бы совсем забывая о нас, но вдруг вспоминал, брал за руки, и мы шли дальше.

Можно только лишь догадываться, зачем он гулял с нами. Он считал, что должен уделять время воспитанию детей - своего родного сына и своего племянника, тем более, что здесь жизненная необходимость и душевная потребность сливались воедино.

Мы с волнением прислушивались к паровозным гудкам и были счастливы, если успевали дойти до насыпи к тому моменту, когда приближался железнодорожный состав - или длинный, с теплушками, или с платформами, на которых ехали танки, или такой же длинный, бесконечный, состоящий из цистерн с нефтью, или пассажирский в несколько зеленых вагонов...

Отец внимательно, прищурив глаза, смотрел на проплывающий состав, его лицо было сосредоточенно, и хотя его рука крепко сжимала мою руку, я чувствовал, что он далек от нас.

Теперь-то я понимаю, чем объяснялась задумчивость отца, его отрешенность.

Он сочинял стихи.

Читая сейчас те, Переделкинские, стихи отца, я отчетливо вспоминаю то далекое время во всех подробностях (люди, предметы, растения) и конечно же так же отчетливо в душе возрождаются чувства и ощущения, которыми она - душа - жила в те дни.

А дни становились короче, листва на деревьях пожухла, облетела, по небу летели серые тучи, птицы собирались в огромные, в полнеба стаи - впереди была зима бесконечно длинная, как медленный, смертельно уставший товарняк.

Посреди переделкинского колхозного поля одиноко и грозно стояла пушка с длинным, задранным в небо стволом - зенитное орудие для борьбы с немецкой авиацией.

Как-то среди зимы папа повел нас с Левкой к этой зенитке.

Городок писателей был завален снегом, дороги не расчищались и их обозначали неровные глубокие колеи, через которые мы с Левкой плотно укутанные, в валенках и зимних шапках с завязанными под подбородками ушами с трудом перелезали.

Через поле к зенитке мы двигались по снежному насту - никакой тропинки, естественно, не было.

Папа решительно шагал впереди, а уж мы кое-как, пыхтя и потея в жарких одеждах, еле поспевали за ним.

Чем ближе мы подходили к страшному орудию, тем тревожнее становилось на душе.

А вдруг налетит вражеский самолет, немец-летчик увидит посреди огромного снежного поля трех советских людей, спикирует на них и бросит бомбу!

А зенитка не успеет или промажет!

Левка по молодости лет не беспокоился о своей судьбе.

Впрочем, усталость превратила серый зимний денек, который в начале путешествия казался довольно скучным, неуютным, в нечто праздничное, волнующее, и очень хотелось скорее, не взирая на смертельную опасность, подойти к орудию и хорошенько рассмотреть его.

А заодно и дух перевести.

Вблизи все оказалось совсем унылым и неинтересным.

Зенитка была не настоящая, а кое-как сколоченная из досок и фанерок. Длинный и грозный ствол был ничем иным, как кривоватым потрескавшимся бревном, еле-еле вымазанным серой краской.

Разумеется, никаких артиллеристов возле нее не было.

И все же какая-то тревога ощущалась.

- Папа, а что будет, если он прилетит? - на всякий случай спросил я.

Папа засмеялся и ответил:

- Он уже не прилетит. Ему не до этого.

Знал ли отец, что зенитка не настоящая? Наверное, знал, - но ему, бывшему артиллеристу, все-таки было интересно посмотреть на нее.

Много лет спустя, когда судьба свела его с директором Большого театра Муромцевым, племянником жены Бунина, Веры Николаевны, отец узнал, что эту ложную батарею специально соорудили на переделкинском поле, чтобы отпугивать немецкие

самолеты, и эта ложная батарея была в ведении именно Муромцева, артиллерийского офицера, часть которого располагалась неподалеку, в лесу за речкой, в поселке, который после войны разросся и стал называться генеральским.

Бунин, Вера Николаевна, ее племянник, Переделкино, война...

Все было насыщено историей, каким-то чудесным образом связанной с папиной судьбой.

Отец рассказывал мне о Переделкине, о том, в частности, как у Горького и Сталина возникла идея создания здесь городка писателей.

Но насколько я мог понять, эта часть истории поселка отца не очень-то увлекала.

Его интересовала старинная усадьба помещика-славянофила Самарина, где в барском доме частенько гостили знаменитые российские литераторы - Аксаков, Гоголь и другие.

Кунцево, Баковка - известные дачные места Подмосковья.

Здесь в конце девятнадцатого - начале двадцатого веков любили снимать на лето дачи москвичи.

Сюда же по известности можно отнести и Переделкино.

Упоминание этой подмосковной деревеньки со смешным названием в связи с выездами горожан из Москвы на природу встречается в произведениях многих тогдашних журналистов и писателей.

И снова возникает имя Бунина.

Не знаю, писал ли он когда-нибудь об этом дачном местечке, но вот его жена Вера Николаевна говорила моим родителям при встрече в Париже в пятидесятых годах, что в молодости слышала о Переделкине и даже бывала там.

Но и эта - не столь далекая - эпоха не могла целиком захватить воображение отца.

Гуляя по окрестностям, он находил приметы далекой, седой истории. Например, в лесу, за границей городка писателей, он наткнулся на старинной кирпичной кладки полуразрушенную, обомшелую часовню.

По его представлению эта часовня была построена во времена Ивана Грозного, в то же приблизительно время, что и знаменитая Переделкинская церковь, возле которой похоронены останки казненных Грозным опальных бояр Колычевых.

Как-то отец и меня привел к этой часовне.

Он размышлял вслух о том, когда она здесь возникла и кто молился в ней, но меня это не интересовало. Мне хотелось поскорее выбраться из мрачной лесной чащи...

И не только время разрушало бесценную постройку.

Как-то много лет спустя отец вспомнил о часовне.

Он сказал, что ее разобрали на кирпичи местные жители.

Впрочем, разобрать ту прочнейшую кладку было невозможно - только выламывать.

Наши переделкинские прогулки растянулись на многие, многие годы, за это время городок менялся, расширялся, появлялись новые дачи, новые "хозяева". Беру это слово в кавычки, потому что в действительности никаких настоящих хозяев здесь не было - ни новых, ни старых.

Хозяином был Литфонд, а по существу, конечно же, государство.

Итак, городок писателей менялся. Не менялось лишь колхозное поле, то самое, где во время войны стояла сколоченная из досок и бревен ложная зенитная батарея...

Поле засеивалось рожью, кукурузой (при Хрущеве), иногда его (поле) держали под паром.

Несколько лет подряд на нем устраивали земляничную плантацию.

Кстати сказать, хотя кукуруза здесь до конца не вызревала, но вырастала высокой, сочной и даже давала початки молочно восковой спелости, которыми с удовольствием лакомились не только колхозные животные, но и прохожие, в том числе и обитатели элитарного городка.

Словом, поле как могло служило своему родному колхозу и одновременно являлось немым укором бездельникам-дачникам, которые только и делали, что гуляли и мечтали, в то время как труженики села... и так далее, и тому подобное.

Короче говоря, обширное колхозное поле, куда по весне привозили с колхозной фермы органические удобрения - иногда из коровников (один запах), иногда из свинарников (совсем, совсем другой!), было для городка, как бельмо на глазу.

Я так много внимания уделил этому полю из-за отца.

Он рассказывал, что писательское начальство (не последние, между прочим, в этом государства люди - и депутаты верховного совета, и члены центрального комитета правящей партии) не однократно пыталось прибрать колхозное поле к рукам и использовать по назначению - то есть разделить на участки и построить еще несколько десятков, или сотен, писательских дач. Но даже они, всесильные вельможи, ничего не могли поделать - колхоз, организованный здесь в первые годы революции (или чуть позже), получил свои земли в вечную собственность.

И хотя была очевидна его хозяйственная несостоятельность, земля, как революционное завоевание трудового народа,

оставалась колхозной.

Снова вернусь в то военное переделкинское детство.

Именно тогда отец, развлекая нас с Левкой, познакомил с несколькими детскими стишками, которые мне, да наверное и брату, очень нравились и хорошо запоминались.

То, что они хорошо заминались, ясно хотя бы из того, что до сих пор я их помню. Показателем того, что стишки нравились, было то, что мы, даже запомнив их наизусть, требовали, чтобы отец их повторял снова и снова.

Думаю, ему это было приятно.

Поскольку я никогда не видел эти шутливые четверостишия напечатанными, приведу их здесь.

Первое.

Под комод забрался ежик,
У него не видно ножек
У него, такого злючки,
Не причесаны колючки
И никак не разберешь -
Это щетка или еж.

Второе.

Пес-барбос купил газету
И надел очки на нос.
"Брось газету,
Толку нету-
Ты ж неграмотный барбос!"

Третье.

Муха в гости собиралась
Ехать очень далеко.
Умывалась, наряжалась,
Перед зеркалом металась
И - попала в молоко.

И - четвертое.

Словно маленький ребенок
Спит в постельке поросенок
И его большая мать
Стала песню напевать:

"Баю-бай! Баю-бай!
Будь моя свинюшка пай
Через год совсем как я
Будешь ты вполне свинья."

В свое время эти стишки хорошо были известны в литературных и около литературных кругах, их цитировали, даже толком не зная, каким образом и откуда они залетели в память

того или иного человека.

Таким образом они воспринимались, как народное творчество.

Кстати сказать, и некоторые другие строчки отца имели хождение по Москве.

Например, следующее двустишие:

"- Как живете, караси?"

"- Ничего себе, мерси."

Часто так же повторялась вызывающая улыбку реплика "Я стою босяком в коридоре!", которая вылетела на улицу из романа "Время. вперед!" и была подхвачена московской публикой.

Закончив очередную работу, отец чувствовал себя опустошенным, становился замкнутым, молчаливым. Из его коротких реплик было ясно, что он боится, что уже никогда больше не сможет сесть за стол и написать ни одной строчки.

Так повторялось всякий раз, лишь только в рукописи ставилась последняя точка.

Однако степень остроты мучительного ощущения безнадежной внутренней опустошенности была разной. Во многом это зависело от внешних обстоятельств, которые бывали довольно суровыми, даже можно сказать ужасными.

Конечно же, подобные обстоятельства не сваливались на голову внезапно, условия их возникновения жизнь готовила тщательно и исподволь, но уже когда все было готово, то - берегись!

Если уж приводить пример такой ситуации, то лучше истории с романом "Святой колодец" и представить невозможно.

Отец приступил к работе на этой вещью в 1962 году и закончил ее через три года, в шестьдесят пятом.

Как обычно он писал с увлечением, целиком погрузившись в работу, ни на что постороннее не отвлекаясь.

Говоря "постороннее", я имею в виду в первую очередь руководство созданным им журнала "Юность", который отец возглавлял в течение пяти лет с момента основания в 1956 году до, кажется, 1960 года.

Именно тогда он вдруг - решительно и бесповоротно - навсегда ушел из редакции.

И как следствие этого шага - появление "Святого колодца", что дало основание читателям, следящим за его творчеством, говорить о "новом" Катаеве.

Ведь дальше последовали не менее успешные книги - "Трава забвения", "Кубик", "Алмазный мой венец", "Волшебный рог Оберона"...

Если забыл написать, то сейчас отмечу, что наряду со многими другими произведениями отца и "Трава забвения" и ранее упоминавшийся роман "Время, вперед!" названы словосочетаниями или строками из стихотворных произведений, в данном случае Пушкина ("Руслана и Людмилы") и Маяковского ("Левый марш").

Дальше можно перечислить все произведения, написанные отцом в течение почти двух с половиной десятилетий, завершающих его жизнь.

"Новый" Катаев.

Может быть и так.

Я же считаю, что новая катаевская проза - мучительное, но неизбежное возвращение Катаева к себе самому. И связано оно с тем сравнительно коротким периодом жизни, творчества и редакторской деятельности, о котором я пытаюсь рассказать.

Почему он бросил "Юность" в то время, когда новый яркий журнал достиг широкой известности и был, что называется, на устах у всей советской читающей публики?

Здесь я вступаю в такую область, где больше приходится строить догадки, предполагать, чем говорить о безусловных фактах.

Как, например, "технически" должен был совершаться уход со своего поста главного редактора всесоюзного общественно политического и литературно художественного журнала?

Путь был один: Центральный Комитет коммунистической партии и Совет Министров выпускали постановление о снятии главного редактора с его должности в связи с тем-то и тем-то (переход ли на другую работу, из-за болезни ли, мешающей плодотворной деятельности, или же безо всяких ужимок объявлялось, что тот или иной товарищ в силу политической незрелости, если не хуже, не достоин занимать это ответственное место).

Короче говоря, они сами назначали человека, они же сами принимали решение об освобождении.

До случая с отцом не было такого, чтобы главный редактор покидал свой пост самостоятельно, по одному лишь собственному нежеланию продолжать на этом посту находиться.

И вот это произошло.

Однажды, уже после принятого решения уйти из журнала, отец появился дома расстроенный, даже подавленный.

В чем это выражалось? Мельком и как-то незряче взглянув на домочадцев, он прошел в кабинет и закрыл за собой дверь.

Надо сказать, что закрытая дверь вовсе не была непреодолимой преградой. Если кому-то из нас - маме, сестре

или мне - нужно было войти в кабинет, чтобы, допустим, взять из шкафа книгу, или сообщить что-то отцу или же о чем-то спросить - пожалуйста!

Но она (закрытая дверь) была красноречивым знаком того, что отец расстроен или чем-то озабочен.

В те, теперь уже бесконечно далекие времена, я был озабочен поворотами собственной судьбы (факультет журналистики, академический отпуск, целина, производственная практика, публикации в печати и так далее, и тому подобное) и особенно не вдавался в подробности отцовских дел.

Однако с течением времени обстоятельства прояснились, многие факты стали известны, и сейчас уже возникла более или менее отчетливая картина жизни отца в тот очень напряженный и решающий в его творческой судьбе период.

Отец заявил в редакции, что складывает с себя полномочия главного редактора, и, с облегчением вздохнув, отправился домой.

С плеч свалился огромный груз.

Он снова принадлежал самому себе, и уже никто не мог диктовать, как распоряжаться собственным временем.

Все бы ничего, однако же такие дела так не делаются.

Отца вызвали к высокому партийному начальнику, и тот, пожурив за необдуманное решение, принялся уговаривать отца остаться главным редактором.

Но так как в действительности решение было очень хорошо обдумано отцом, и разговор представлялся ему простой формальностью, он вежливо и улыбался и при этом отрицательно покачивал головой.

И тут начальник сорвался.

- Да ты понимаешь, с кем имеешь дело?! - заорал он. - Не ты себя назначал, и не тебе себя снимать!

В "Святом колодце" есть эпизод, где лирический герой - или рассказчик - называйте, как хотите, - однажды после беседы с крупным начальником, руководителем, возвращается домой и ложится на кушетку в своем кабинете, не зная, что с ним будет дальше.

Автор пишет, что "я", то есть лирический герой произведения, не отличался особой смелостью и, прекрасно зная характер начальника и, главное, порядки, царящие в их стране, ожидал самого худшего.

Этот эпизод перешел в литературное произведение прямиком из жизни.

И все же - почему отец бросил журнал, успех которого, безусловно, изначально был заложен в его таланте редактора,

тонком художественном вкусе и общественном темпераменте?

Почему не побоялся войти в конфликт с властями?

Об этом можно только гадать. Хотя я уверен, что знаю ответ.

Причем даже сам отец тогда, в драматический момент своего странного решения вряд ли смог бы членораздельно объяснить причину этого поступка.

Он только твердо знал, чувство самосохранения крупного художника подсказывало ему: поступить он может только так и не иначе.

Конечно же все дело было в стремлении писать, сочинять, творить, словом - быть писателем, что никак невозможно было осуществить, оставаясь главным редактором советского литературно-художественного и общественного политического...

Поначалу отцу казалось, что его новая, такая интересная, способная увлечь работа, связанная с тесным общением с новой плеядой молодых ярко одаренных литераторов, журналистов, художников не будет помехой для его собственного творчества.

Он даже успел за время редакторства задумать и осуществить идею создания тетралогии (или как тогда выражались - эпопеи) "Волны черного моря", куда кроме ранее написанных романов "Белеет парус одинокий" и "За власть советов" вошли два новых - "Хуторок в степи" и "Зимний ветер".

Героями всех четырех произведений, действие которых растянулось на пол века - от первой русской революции пятого года до окончания великой отечественной войны, - объединялись общими персонажами, заявленными еще в самом первом романе "Белеет парус одинокий".

Роман "За власть советов" создавался без расчета стать одной из частей эпопеи, как, впрочем, и "Белеет парус одинокий" не предполагал продолжения.

И вот тут, по моему глубокому убеждению, кроется главная причина того, почему отец столь решительно пресек плавное течение своей литературной, да и человеческой судьбы, со скандалом прекратил редактирование журнала и написал произведение, которое никак не "монтировалось" с представлением о нем, как о классике советской литературы, что предполагало либо полное молчание, либо продолжение работы в привычном духе социалистического реализма - производство серой никому не нужной литературной жвачки.

Если "Белеет парус одинокий" явился безусловным художественным достижением отца, что было отмечено не только читателями, но и государственной критикой и официальным

признанием, то роман "За власть советов", опубликованный в 1948 году, подвергся настоящему гонению властей, хотя в художественном отношении его можно отнести к большой писательской удаче.

Не даром же он удостоился похвалы все того же Ивана Алексеевича Бунина, который "из прекрасного далека" не оставлял вниманием работу своего ученика...

Существует перевод романа на французский язык, созданный знаменитым Луи Арагоном...

Так вот.

История создания романа о борьбе одесского подполья против немецко-румынской оккупации напоминает историю создания романа "Белеет парус одинокий".

Отец решил снова обратиться к приключенческому жанру, и снова действие романа должно было происходить в родном городе его детства. Тем более, что сама жизнь преподносила в подарок автору прекрасную романтическую декорацию для приключений - одесские катакомбы.

Но теперь к героям "Паруса", ставшим уже к тому времени взрослыми, солидными людьми, присоединятся их дети.

Вкратце общую канву задуманного произведения можно изложить в одной фразе: бывший одесский мальчик, а ныне солидный юрист, давно уже покинувший родную Одессу и перебравшийся в Москву, отправляется как-то летом в отпуск со своим сыном, чтобы показать ему город своего детства, где их и застает начало Великой отечественной войны.

Под городом в течение столетий осуществлялась выработка строительного материала, знаменитого одесского известняка, после чего оставались многокилометровые штольни, настоящий лабиринт из хаотического переплетения бесконечных тоннелей, непроизвольно соединяющихся друг с другом или же заканчивающихся тупиками.

Некоторые тоннели широкие и высокие и по ним можно передвигаться во весь рост, как в обычном доме. Иногда же это узкие лазы, по которым и ползком еле пролезешь....

Именно здесь, в Одесских катакомбах, базировался партизанский отряд, где волею судеб (и конечно же волей автора) должны были очутиться главные персонажи.

Отца увлек этот замысел по причине, сходной с той, что открылась ему в работе над "Парусом", а именно - можно было, повествуя об исторических событиях, в данном случае, полной драматизма героической и трагической истории противостояния небольшой группы подпольщиков, скрывающейся в катакомбах, жестокой и безжалостной машине гитлеровской оккупации,

проследить за душевным состоянием мальчика Пети, сына бывшего одесского мальчика Пети, а ныне москвича Петра Васильевича Бачея, снова вернуться в собственное детство.

Кроме того, замысел открывал перед автором безграничные возможности поразмышлять о собственной судьбе, судьбе своих сверстников и вообще всей страны, претерпевшей за сравнительно короткий исторический срок такие немыслимые изменения.

Я так подробно говорю об этом романе, потому что он являлся важной, значительной вехой в творческом пути отца, и удар, который партийная критика нанесла по этому произведению, как мне кажется сильно его потряс.

Надо сказать, критические разносы, оскорбляющие достоинство и, что немаловажно для профессионального писателя, лишающие его авторского гонорара, для отца были привычным делом.

Почти все его пьесы, на первых порах собирающие аншлаги, "снимались с репертуара" после очередной критической статьи в газете "Правда" или "Советская культура" (впрочем, название газеты могло быть и другим).

Но одно дело - комедия, или веселый водевильчик, навеянный творчеством Скриба, и совсем другое - прозаическое произведение, где со всей мощью дарования художник рассказывает о самых глубинных движениях души, делится представлениями о любви, жизни и смерти.

Этот удар критической дубинкой по отцовской голове случился на самом излете сталинизма, и пришедшая ему на смену так называемая хрущевская оттепель конечно же не могла не подействовать животворно на состояние его духа.

Отсюда и веселая энергия при создании журнала и руководстве им, и жажда собственного литературного творчества, которая вылилась в стремительное создание двух недостающих частей тетралогии.

Но именно сейчас, по моему глубокому убеждению, отец внезапно осознает, что поставил перед собой и осуществил ошибочную задачу.

Ни "Белеет парус одинокий", ни "За власть советов", являясь отдельными самостоятельными произведениями, вовсе не нуждались ни в продолжении, ни в завершении, и в соединении с новыми романами свою уникальность утратили.

И если при этом "Белеет парус одинокий" почти не пострадал, то роман "За власть советов", который отец сократил и отредактировал, чтобы он соответствовал по размеру другим частям тетралогии, оказался загубленным.

Вот откуда непреодолимое желание порвать с журналом, подвести черту под всем написанным и начать все сначала.

Это желание было неизбежным и неотвратимым.

Следует заметить - в скобках, - что власти со своей стороны усугубили душевную травму, "прокатив" отца с присуждением ему Ленинской премии. Причем кроме отца на премию в разряде прозы претендовал второй кандидат, один из наших великих писателей - современников из национальных окраин, имя которого не могу назвать, потому что напрочь забыл и не у кого спросить...

Разумеется, выдать высокую премию этому кандидату, отказав в ней Катаеву, было совершенно невозможно, поэтому в том году премию в выше названной номинации не получил никто.

Однако, поскольку Ленинская премия была делом политическим и не присудить ее великому современнику из национальных окраин было никак невозможно, ибо некоторым другим великим из других окраин ее уже присудили раньше, а целому ряду того же сорта великих ее еще предстояло присудить в будущем, на следующий год великий современник уже не имел конкурента и премию благополучно получил.

И с тех пор с присуждениями главной премии подобных накладок уже не случалось, все пошло без сучка и задоринки.

Мой отец не обсуждал ситуации с той злополучной Ленинской премией, как, впрочем, никогда ни до, ни после не углублялся в технологию получения наград, которыми был обделен или же, наоборот, которым был подвергнут.

Возможно, присуждение высокой (и весомой в денежном выражении) премии несколько подсластило бы горькую пилюлю художественной неудачи тетралогии. Тем более, что литературная деятельность отца с его безусловными художественными достижениями стоит больше одной единственной государственной (бывшей сталинской второй степени) премии за повесть "Сын полка".

Однако государство, в принципе своем не признавая художественного метода Катаева, авангардиста и модерниста, но вынужденное считаться с его безусловным даром и все тем же спонтанным успехом его произведений у читателя, вовсе не собиралось залечивать его душевные раны вместо того, чтобы в очередной раз хорошенько трахнуть по "кумполу".

Тем более, что, судя по всему, "пролет" отца с Ленинской премией, представлял из себя, как до сих пор любят публично выражаться чекисты, "хорошо спланированную акцию".

Постараюсь коротко изложить историю создания и

публикации повести "Святой колодец", положившей начало катаевской "новой прозы".

Впрочем, самым первым в этом списке можно назвать еще одно произведение - "Маленькая железная дверь в стене", развернутый очерк о жизни Ленина в эмиграции, и в частности, в Париже, куда мои родители "повадились" ездить со времен оттепели и где, кстати сказать, в свое время появилась на свет Эстер, папина жена и мать его детей.

В этой сравнительно небольшой работе отец "обкатывал" новый для себя способ изложения материала, свободно перемещаясь во времени и в пространстве, не заботясь о хронологии, то есть позволяя себе рассказывать о событиях и фактах в той последовательности, которую диктует внутренняя потребность, что может восприниматься, как волюнтаризм.

Свой новый метод отец использовал и в дальнейшей работе, в частности, над "Святым колодцем".

Итак, "Святой колодец".

Работал отец с увлечением, и время от времени, когда накапливался очередной кусок прозы, он спрашивал, не хотим ли мы послушать, и принимался читать.

Он сидел за столом чуть боком в своем рабочем кресле, поднеся близко к лицу большой блокнот с написанным текстом и читал глуховатым, как будто бы немного простуженным голосом свое новое произведение, которое нас, слушателей, завораживало и буквально доводило до слез.

Хочу сказать, что в данном случае семья (жена и дети) безоговорочно - "на корню" - принимали его новую прозу, и я был в таком восторге, что готов был целовать папины руки, крепко сжимающие толстенькую стопку листов блокнота, соединенных верху пластмассовой пружинкой, или спиралькой - не знаю, как назвать.

И это даже произошло однажды, в новогоднюю ночь, когда после радостного и вкусного застолья в кругу семьи и нескольких дружеских гостей, мы с отцом поднялись к нему в кабинет и он, чуть заплетающимся от выпитого бордо языком, принялся читать еще утром написанные строчки.

Ведь день перед Новым Годом был, как всегда, сумасшедшим и прочесть и выслушать очередную порцию "Святого колодца" тогда не удалось.

С обостренным от выпитого прекрасного вина вниманием я вслушивался в папино чтение и, когда он закончил, схватил его руку с мозолями на крепких, точно из кости вырезанных пальцах, соприкасающихся с авторучкой, и со слезами восторга на глазах поцеловал ее...

Судьба новой вещи складывалась поначалу вполне удачно.

Тогдашний сосед по переделкинской даче главный редактор одного из толстых литературно художественных и общественно политических журналов, встретившись с отцом на Алле полу классиков (улица Серафимовича) и узнав, что отец заканчивает новую вещь, предложил взять ее в свой журнал и незамедлительно напечатать.

А редакционный портфель?

Наверняка забит произведениями, которые ждут не дождутся своей очереди.

Главный редактор заверил, что вещь пойдет вне очереди.

Хорошо иметь в соседях главного редактора!

И вот рукопись в редакции.

При встрече на прогулке сосед - он неподвижно стоял у своих ворот, поджидая бодро шагающего отца - деловито сообщил, что рукопись прочел, она ему понравилась и уже поставлена в ближайший номер.

Ближайший номер со "Святым колодцем" должен выйти месяца через три, максимум - через четыре.

Сроки оказывались чрезвычайно гуманными...

Первые месяца два никаких особых "движений" рукописи не наблюдалось. Потом деятельность активизировалась и возник редактор - не тот, главный, что "взял" рукопись, а тот, что должен был с ней работать, доводить до печати.

Редактором оказалась довольно милая мягкая молодая женщина, кстати сказать, так же живущая в городке писателей (ее отец был крупным функционеров одного из подразделений Союза и имел в Переделкине дачу неподалеку от отцовской).

Молодая дама оказалась либералкой и поэтому тонко разбиралась в том, что можно печатать, а что - нельзя, что "пройдет" в контролирующих инстанциях, а что станет камнем преткновения для публикации всей вещи.

Она чутко, как самый тонкий электронный датчик, реагировала на малейшие даже самые отдаленные и бледные намеки на критику существующей действительности и немедленно вытаскивала крамолу "за ушко да на солнышко".

И уж тут от ее мягкости не оставалось и следа.

Стальная кагебешная наследственность несгибаемо требовала полного подчинения.

Забегая вперед, скажу, что когда через год ситуация со "Святым колодцем" разрешилась и рукопись была передала для публикации в другой художественно литературный и общественно политический журнал (в "Новый мир" к Твардовскому) и была-таки ко всеобщему удивлению - а у

некоторых и к негодованию - опубликована, отец долго вылавливал и выковыривал поправки и поправочки, на которых с такой несгибаемой настойчивостью от имени интересов государства настаивала либеральная сотрудница журнала.

Идиотичность требований проиллюстрирую лишь одним из бесчисленного множества примеров.

Почему-то вызвало протест слово "Виссарионович," которое никак не мог выговорить один из персонажей повести - говорящий кот - от чего и умер, и крамольное слово после длительного торга было заменено на более нейтральное - "неоколониализм".

Все это сильно потрепало отцовские нервы.

Но это было потом.

А пока что - шло время, а о рукописи уже никто не вспоминал - ни главный редактор, переставший выходить из дачи, а может быть и переехавший в город, ни либеральная сотрудница - никто.

Словно бы рукописи вообще не существовало.

Полная тишина.

Будучи человеком опытным, отец сначала заподозрил, а потом окончательно понял, что его новую прозу печатать не намерены и что подобное решение принято не главным редактором, а его политическим начальством.

Отец был подавлен.

Внутреннее недовольство написанным вроде бы находило объективное подтверждение из вне: новое произведение не считали нужным публиковать, ибо оно не удалось.

Помню как-то в безрадостный вечер я заглянул к отцу в кабинет.

Отец грустно, отрешенно сидел в кресле за рабочим столом, перед непривычно пустой а потому и просторной столешницей без рукописей, писем, книг, записок и каких-то листков бумаги с беглыми заметками, которые в обычных обстоятельствах делали стол одушевленным, энергичным, даже веселым.

Сейчас же стол казался холодным, лишенным души, что было особенно странно и тревожно, потому что его хозяин был рядом.

Да, хозяин был здесь, но он не писал, и не читал, и его пальцы сжимали не авторучку, а закругления подлокотников.

Отец повернул ко мне горестное, страдающее лицо, какого я еще никогда у него не видел, и глухо сказал:

- Я - пария...

Это была минутная - может быть даже секундная - слабость, которую отец, никогда не выплескивающий наружу своих

душевных переживаний, не захотел или не смог от меня скрыть.

В его душе царило отчаяние...

Но уже на следующий день от отчаяния и следа не осталось.

По крайней мере внешне.

Отец снова стал таким, каким я его привык и хотел видеть: в любой момент готового к шутке и насмешке, вспыхивающего недовольством, светящегося нежностью, впадающего в задумчивость...

Очень трудно называть и перечислять оттенки настроений близкого человека, чей характер тебе хорошо знаком и малейшие смены которых не могут остаться незамеченными.

Во всяком случае отец снова был прежним, когда как-то вечером - мы как и обычно, пили пятичасовой, по-английски, чай - раздался звонок и я поднялся по одному из двух пролетов лестницы к телефону.

Доброжелательный голос попросил к телефону Валентина Петровича.

На вопрос, кто спрашивает Валентина Петровича, человек назвал свое (знакомое мне) имя и должность в отделе культуры Центрального комитета.

Нечто подобно ожидалось, потому что ситуация с папиным новым произведением повисла в воздухе и висела таким образом уже достаточно долго.

Пора бы и разрешиться.

После достаточно продолжительного телефонного разговора улыбающийся отец спустился в гостиную (у нас она по простецки называлась столовая) и во всех подробностях поведал нам - маме и мне - о судьбе своего произведения.

Причем его улыбка была вызвана не столько удовольствием от положительного решения судьбы произведения, сколько от пикантных подробностей, этому решению сопутствующих.

Действительно, человек из Центрального комитета сообщил отцу, что "в Центральном комитете прочли "Святой колодец" и не видят причин для его запрещения".

Но у Центрального комитета есть к отцу одна убедительная просьба, а именно - убрать из произведения слово "севрюга", с которой сравнивается один из персонажей его новой книги.

Дело в том, что некий маститый литератор узнал в персонаже самого себя, и поскольку некогда был изображен знаменитыми карикатуристами в образе именно этой рыбы, то выразил опасение, что по такой подсказке будет узнан и другими.

С просьбой о собственной защите маститый литератор обратился в Центральный комитет.

Вопрос о севрюге был решен тут же, во время телефонного разговора.

- Значит, с рыбами его сравнивать нельзя? - уточнил отец.

- Нельзя.

- А с чем можно?

- Ну, не знаю...

Наступила небольшая пауза. Но воображение отца уже работало во всю силу, и когда он спросил, можно ли сравнить этот персонаж с птицей, ему уже все было ясно.

- С птицей? - переспросил человек из Центрального комитета и, секунду подумав, ответил:

- С птицей - можно.

- Ну, тогда я его сравню с дятлом.

И в этот же вечер отец, поднявшись в свой кабинет, внес в рукопись изменение, вычеркнув сравнение с севрюгой и написав, что его "тягостный друг" напоминал дятла с его художественным стуком в третьем отделении.

И не оставалось никакого сомнения в том, что речь идет не об отделении концерта художественной самодеятельности или, допустим, мастеров искусств, а о "стуке" в "третьем отделении", то есть в тайной полиции.

Как именно некий маститый литератор узнал о существовании папиной рукописи и добрался до нее?

Тут можно строить разные предположения.

Ну, например, такие: либералка-редактор, под политическим микроскопом читая рукопись, узнала в одном из персонажей некоего маститого литератора и по знакомству "стукнула" ему о своей догадке.

Важно то, что тот до рукописи добрался, внимательно прочел и сделал все для него возможное, чтобы не допустить ее появления в свет.

Этого, правда, не получилось - удалось лишь оттянуть сроки публикации.

"Святой колодец" был напечатан в журнале, затем вышел отдельным изданием, и с тех пор воспринимается, как очередная веха в творчестве Валентина Катаева.

Все это осталось в далеком, далеком прошлом.

Но это же было!

В связи со "Святым колодцем" хотелось бы вспомнить первые критические отклики на него в печати.

Небольшая преамбула.

Любая оценка художественного произведения в советской печати - в газете ли, журнале, критическом ли сборнике -

обязательно согласовывалась с идеологическим начальством. В противном случае ни малейших шансов быть опубликованной не имелось. Так что и семи пядей во лбу не требовалось, что бы понять, откуда уши растут. Но читательская масса, так называемый рядовой читатель, не вдавался в тонкости, а простодушно принимал к сведению все, что ему давали.

Или - напротив - не давали, поскольку существует еще один, поистине иезуитский вид реакции на новое произведение, а именно - полное молчание.

Как будто бы никакого произведения в природе вообще не существует.

Этот способ так и называется - замалчивание.

Значит, так надо.

Отец, разумеется, прекрасно все это понимал и совсем не интересовался откликами печати на свое творчество.

Вспоминаю папин смешной рассказ о его друге молодости, знаменитом писателе-земляке, который каждое утро, открывая свежую газету, внимательно выискивал в ней отклик на свое произведение.

И если не находил упоминания своего имени, отбрасывал газету в сторону со словами:

- Сегодня газета плоская, как блин!

Непосредственная связь с читателями осуществлялась старинным способом - посредством почты.

Лишь только публиковалось очередное произведение, буквально на следующий день появлялись первые отклики - телефонные звонки или телеграммы. А уж через несколько дней и первые письма приходили.

Теперь - к делу.

По интенсивности звонков и количеству писем можно было сделать заключение, что "Святой колодец" произвел на читающую публику сильное впечатление.

Что же касается "критики", то отец по своему обыкновению никак не интересовался ее наличием.

Впрочем, ее наличия и не наблюдалось.

Молчание.

Будто бы и нет такой новой вещи. А если и есть, то в связи с низким художественным уровнем общественного интереса не представляет.

И хотя сам отец (как, впрочем, и воспитанные им домочадцы) критические высказывания в печати не отслеживал, обязательно находились доброхоты, которые считали своим долгом поставить его в известность о посвященной ему критической статье, если такая паче чаяния где-нибудь и

появлялась.

Впрочем, доброхоты были осведомлены о том, что отец не будет их слушать, и старались сообщить это кому-нибудь из домочадцев.

Частенько меня выбирали, как передаточную инстанцию, но я из солидарности с отцом впускал информацию в одно ухо и выпускал через другое, не доводя ее до отца.

Признаюсь, на моей совести скопилось немало такой "погубленной" (с точки зрения доброхотов) информации, но я до сих пор испытываю чувство удовлетворения, что отец не узнал о ней, во всяком случае от меня.

Как бы то ни было но вскоре после опубликования "Святого колодца" мне в руки попалась одна из очень тиражных центральных газет, где прославившийся своим свободомыслием и "штрафованный" писатель, автор нашумевшего романа эпохи недавней оттепели сильно отца "приложил".

По своему обыкновению я ничего отцу не сказал, но статья была замечена публикой и Москва, что называется, шумела по этому поводу.

Во всяком случае мнение идеологического начальства по поводу новой вещи отца стало достоянием общественности. Правда общественность недоумевала, почему все это было сделано руками именно "штрафного" писателя, которому с некоторых пор не удавалось строчки опубликовать. И тут вдруг - разносная статья.

Потом просочились слухи, что за разгром "Святого колодца" автору статьи были обещаны какие-то немыслимые блага - должность в Союзе писателей, переиздание свободомыслящего романа и прочее, и прочее.

Однако, как и бывает в подобных случаях с обещаниями идеологического начальства, они лопнули, и обманутый писатель остался, как говорится, при своих.

Не сомневаюсь, что данная в статье отрицательная оценка нового произведения отца честно отражала истинное отношение автора к творчеству Катаева.

Ну что ж, иногда взгляды художников совпадали со взглядами идеологического начальства.

Все это может показаться выдумкой, плодом больного воображения обиженных людей, но дальше последует изложение непреложного факта, который убедительно докажет, что идеологические начальники действительно затеяли вокруг "Святого колодца" "мышиную возню."

Факт этот стал мне известен через много лет после описываемых событий.

Но вот как раз в то время писатель Юрий Трифонов, познакомившись с откликом на "Святой колодец" и решительно не согласившись с содержавшейся в нем отрицательной оценкой - ему самому произведение понравилось, - предложил главной литературной газете страны собственную статью, в которой произведение Катаева похвалил.

Однако же названая газета напечатать на своих страницах "положительную" статью не захотела. Да и во всех других изданиях, куда бы Трифонов ее ни предлагал, его так же неизменно ждал отказ.

Трифоновская статья (вместе с изложением всех перипетий в свое время ее постигших) была опубликована лишь спустя годы и годы в одном из сборников покойного писателя...

Расскажу еще об одном эпизоде из жизни отца, близком по содержанию.

Как-то к вечеру, перед возвращением из Москвы на дачу в Переделкино, мы с отцом зашли в ЦДЛ купить вина.

С некоторых пор там "под прилавком" время от времени появлялось французское красное вино, которое буфетчица Валентина Николаевна "отпускала" по своему усмотрению наиболее "достойным" посетителям. Не могу точно определить понятие "достойный", но совершенно точно учитывалось не только финансовое положение покупателя.

Неоднократно наблюдал картину, когда, прервав таинство доставания для меня вина из под прилавка при появлении нежелательного посетителя, так же страждущего отовариться отличным вином, Валентина Николаевна делала постное лицо и отвечала, что вино кончилось.

А то и вообще обходилось без объяснений - нет и точка!

Нам отказа не было, если, разумеется, был товар.

И порой мы уносили с собой богатый улов - целую коробку, то есть дюжину бутылок.

Вечер выдался удачным.

Хотя на этот раз французского вина не завезли, зато бутылки две испанского, сухого красного на наше счастье под прилавком задержалось.

Но дело не в этом.

Буфет располагался между более или менее спокойным, "приличным" рестораном (крахмальные скатерти и салфетки, ведерки с шампанским, черная икра в хрустальных розетках на льду, и так далее, и тому подобное, кто бывал - знает) и так называемым "цветным" залом, который к вечеру превращался в низкопробную пивную - плохо освещенную, дымную, пропахшую алкогольной кислятиной, орущую и гудящую, с возникающими

вдруг то там, то сям пьяными свалками.

Имена участников таких драк иногда вывешивались в вестибюле рядом с афишами мероприятий, проходящих в Большом и Малом залах писательского клуба. На какое-то время драчунов отлучали от ЦДЛ...

Но это так, к слову.

Так вот, сделав приятную покупку в буфете, мы с отцом отправились через "цветной" зал к выходу.

Приходилось пробираться между столиков, облепленных захмелевшими литераторами. Я шел впереди, приняв на себя роль ледокола, чтобы, если придется, пробивать дорогу идущему за мной отцу.

Пробравшись через зал, я оглянулся, но отца за собой не обнаружил.

Через какое-то мгновение я его увидел.

Он стоял возле столика, растерянно озираясь, а в его руку крепко вцепился некто в темном костюме, в съехавшем на сторону галстуке и с невнятным пьяным лицом.

Сквозь буфетный шум до меня донеслось глухое восклицание, обращенное к отцу:

- Валя, прости!

И некто в темном, не отпуская папиной руки, сполз со стула и оказался перед отцом на коленях.

Не будь я сам свидетелем, эту быстротечную сценку можно было бы посчитать нелепой выдумкой.

- Да ладно, ладно... - приговаривал отец, делая деликатные попытки освободиться.

Ему это удалось до того, как подоспела помощь в моем лице. Он взял меня за локоть, и мы, не оглядываясь, прошли через зал в тихий просторный вестибюль.

- Кто это? - спросил я.

Отец чуть презрительно улыбнулся и назвал фамилию писателя, который в свое время написал для двух номеров "Правды" четыре разгромных подвала (по два в номере) по поводу романа "За власть советов".

Большим был человеком при Сталине.

На вопрос, чего он хотел, отец ответил, что почему-то вдруг решил перед ним извиниться за старое.

Было понятно, что отцу вовсе не интересно вспоминать об этом происшествии, которое теперь уже за давностью лет потеряло всякий смысл, не оставив в душе глубокого следа - затаенной обиды или неприязни.

Автор некогда прославленного романа, удостоенного высочайшей советской премии, продолжал существовать, в то

время как его худосочные сочинения погибли, не выдержав испытания станком Гуттенберга.

Думаю, отец прекрасно понимал, что и его суровый критик был такой же жертвой идеологической возни, как и он сам, и зла на него не держал. А если говорить точнее, после того случая человек в темном для него вообще перестал существовать, ибо и до этого никакого интереса к себе, как литератору, не вызывал.

К истории о разгроме романа "За власть советов" добавлю некоторые пикантные подробности. Наверное и тогда о них знали люди, кого они касались, в том числе и отец. Но мне стали известны сравнительно недавно, в последние годы, после того, как были обнародованы в печати.

Так вот.

Свою резкую, зубодробительную статью тот господин написал по зову сердца, но печатать ее отказывались. И тогда он в письме Сталину пожаловался на невозможность опубликовать свое мнение в газете.

Сталин затребовал статью, одобрил ее и с соответствующей рекомендующей резолюцией отправил в редакцию "Правды".

Кроме того, он позвонил автору по телефону, в доверительном разговоре согласился с критической оценкой романа и даже высказался в том плане, что очень нехорошо было Катаеву назвать главного героя произведения, секретаря райкома партии Черноиваненко Гавриком.

Ведь всем известно, кого в русском народе называют "Гавриками".

Особый сюжет - отец и растения, в частности - цветы.

Начну издалека.

Мне, мальчику, очень и всесторонне нравился роман моего отца "За власть советов".

Имеется в виду не только содержание, но и сама книжка, как предмет.

Это был толстый том в простецкой картонной обложке, с желтоватой почти газетной бумагой и беглыми карандашными рисунками - заставками.

Да и на самой обложке, под названием, таким же образом была нарисована диковинная керосиновая лампа с зарешеченными стеклами.

Одна только эта лампа могла дать отчетливое представление о том, что дело происходит в мрачном подземелье, где единственный свет - скупое неверное пламя фитиля, вот-вот готовое погаснуть из-за отсутствия керосина...

Больших во всю страницу иллюстраций, которые всегда

придают любой книжке дополнительный вес (не в прямом смысле, разумеется), в книжке отца не было и может быть, если покопаться в душе, меня это несколько задевало.

Но достаточно было приступить к чтению, как всякие мысли о внешнем виде книжки улетучивались, потому что ты оказывался в мире света, растений, домов, деревьев, наконец, моря, такого таинственного и такого притягательного.

И там, в этом мире, который, оказывается, вовсе не был чужим, а, напротив, был твоим миром, существовали, разговаривали, размышляли, чувствовали и действовали очень знакомые и понятные люди.

Все начиналось с подготовки к долгожданной поездке в страну папиного детства мальчика-пионера и его отца.

Сборы, разговоры, волнения.

И наконец - начало путешествия.

Ранним летним утром у подъезда большого московского дома остановился автобус, который, разъезжая по городу, собирал авиационных пассажиров, чтобы доставить их на аэродром к самолету.

Два наших героя, отец и сын, забрались в автобус, и тот двинулся из Замоскворечья мимо Храма Василия Блаженного, напоминающего восточную чалму, через Красную площадь, по улице Горького в сторону центрального аэровокзала, откуда и должен был начаться рейс.

Так вот.

Задние фонари автобуса светились в утреннем сумраке, как медуница.

И без описания горящих задних фонарей автобуса картина мира была насыщена наступающим рассветом, спящими домами, прохладой, пустынными переулками, таинственностью Кремля, предвкушениями дальнейшего.

А тут еще фонари, которые светились, как медуница.

И я представлял себе эти светящиеся в сумраке продолговатые из толстого стекла рубчатые фонари удаляющегося автобуса, может быть немножко фиолетовые, как цветы медуница, которые я никогда не видел, но название которых содержало в себе представление об этом странном оттенке цвета.

Прочел, вздрогнул от восхищения и навсегда запомнил.

Много лет спустя спросил у отца, что это за цветок такой - медуница. И он мне ответил, что слышать слышал, а вот никогда увидеть ее не доводилось.

Но что-то же заставило его написать это слово и заставить меня, читателя, никогда не видевшего этого цветка, представить

себе не только удаляющийся автобус с включенными ночными огнями "медуницами" - еще очень рано и темно, - но увидеть город, рассвет, небо и при этом почувствовать озноб от волнения, которое сулило героям романа предстоящее путешествие.

Одно лишь слово, название, но какое же это чудо, что именно оно возникло в воображении писателя, всплыло из каких-то непознаваемых глубин памяти и нашло свое место среди других слов может быть даже более необходимых и обязательных.

Кажется. я предпринимал попытки уточнить, что же из себя представляет цветок "медуница" и даже кажется выяснил, что ничего общего с тем, что я себе навоображал, не имеет.

Но абсолютно никаких подробностей в памяти не сохранилось...

Картина же из романа отца жива в моем представлении до сих пор. А поскольку, как бы оригинален и самобытен ни был отдельный читатель, всегда какая-то часть человечества, пусть совсем небольшая, пусть лишь несколько миллионов, думает и представляет, как ты, то по прочтении упомянутого сравнения с медуницей на страницах романа (точнее, в нескольких строках из него) и картину он увидит такую же, что и ты.

А может быть он пошутил, что понятия не имеет?

В дом покупались корзины с цветами, приносились розы, стебли которых мама особым образом - наискосок - подрезала а потом бросала в вазу таблетку аспирина или ложку сахара, чтобы дольше стояли.

И все же цветы в корзинах жухли, розы увядали.

И отец увлекся выращиванием амариллисов.

Если корзины и букеты были в Москве, то амариллисы - в Переделкине.

Все делалось строго по научному: горшки, земля, луковицы.

Отец сделался настоящим специалистом. Он знал, когда луковица "засыпала" и ее необходимо было укутать в газетную бумагу и спрятать в темноту, под лестницу. Он знал так же, когда следовало луковицу достать из-под лестницы, высадить в землю и уже в горшке выставить на подоконник, под лучи теплого мартовского солнца.

Самое главное событие - это когда луковица давала стрелу.

Оканчивалась сильная, бледно зеленая, салатная, почти белая стрела тугим бутоном, который через несколько дней лопался, точно фисташка, и в узенькую щелочку откуда-то изнутри, из невидимого мира чуть просовывался кончик алого лепестка. У меня, что называется, в ушах до сих пор звучит его радостные обращения к маме.

- Эста! Луковица дала стрелу!

Или.

- Эста! Цветок проклюнулся!

Отец первый замечал все эти волшебные изменения и превращения, и мы все сбегались на его восторженные восклицания.

На дворе еще только весна наступала, а здесь уже расцвели яркие цветки - громкоговорители, явив собой некое волшебство, некий протест против суровостей природы, которые во что бы то ни стало требуется преодолеть, а отец-то и занимался выращиванием этих праздничных цветов для того, наверное, чтобы вместе со всеми нами испытать это ощущение победы.

Как-то будучи в Ялте отец завел знакомство с сотрудниками Никитского ботанического сада, и в один прекрасный день ему на переделкинский адрес пришла посылка из Крыма с саженцами роз.

На дачном участке под окнами его кабинета стараниями отца уже был разбит небольшой розарий, и летом каждое утро там срезались свежие розы и расставлялись по всему дому.

Их было немного, но каждому из нас, обитателей дома, по розочке - да хватало!

Теперь же с появлением посланцев из Никитского ботанического сада папин розарий преобразился. Почти в течение целого лета ежедневно на кустах распускались все новые и новые цветки настоящих крымских роз, нежных и пахучих.

Вместе со всеми нами отец любовался и наслаждался общим видом цветущего розария и каждым отдельным срезанным для букета цветком, и в этом мы все были равны.

Однако же в решающие моменты он из благодушного зрителя превращался в истинного садовника, от действий которого зависит жизнь и судьба растений. Отец внимательно следил за тем, чтобы перед началом зимы все растения были тщательно укутаны и укрыты от морозов еловыми ветками, а весной аккуратно расправлены, заботился о подкормке (коровьим навозом) и об опрыскивании, если появлялась тля.

Помимо моей авторской воли может возникнуть образ этакого ученого ботаника, всю свою жизнь и волю отдающего разведению различных растений.

Разумеется, это не так. Ведь я сконцентрировал на странице-другой то, что по крупицам рассыпано по всей длинной жизни.

Кстати, не упомянуто выращивание клубники на дачных грядках, особенно запомнившаяся нам, детям, которых безжалостный отец заставлял обрывать усы, чтобы, как учила наука и практика, живительные соки не уходили на сторону, а

сосредотачивались на главном кусте а затем и в плодах.

Это было совсем давно.

А уже сравнительно недавно стараниями отца на участке появилось три куста жасмина, и с некоторых пор они своевременно покрываются пахучими цветами и стали уже большими, густыми, как деревья.

Особенно тот, что посажен под окнами столовой.

Да и несколько лип, так же посаженные отцом на дачном участке, превратились из тонких прутиков в зрелые тенистые деревья, которые даже пришлось обрезать, чтобы каким-то образом справиться с могучими кронами.

К сожалению, все эти занятия в условиях социализма (то есть постоянного дефицита и недостачи во всем) на не принадлежащем тебе клочке земли вокруг казенной дачи требовали огромных усилий, и материальных, и нравственных, и не могли дать отцу настоящего, полного удовлетворения.

Но все же...

Поскольку в ткань повествования спонтанно вплелась политика (критическая оценка автором условий социализма), я хотел бы быть честным по отношению к памяти моего отца и сказать, что он вряд ли бы со мной согласился.

Кстати сказать, не было ни одного партийного лидера нашей страны, к которому бы отец относился с уважением (разве что к Никите Сергеевичу Хрущеву, да и то очень короткое время лишь в самом начальном этапе его деятельности).

И все же, если, допустим, по поводу нашего социализма он был убежден, что все его ужасные недостатки есть некая случайность, порой трагическая, но в принципе этот строй справедливый, то капитализм (и уничтоженный революцией и продолжавший процветать в остальном мире) в основе своей ужасен, несправедлив и неприемлем.

А приятные стороны капитализма - привлекательная случайность.

Свой взгляд на этот политический и экономический строй он высказал в романе "Кубик", который, разумеется, был вовсе не об этом, а, как всегда у отца, о самых глубинных порывах человеческой души, пытающейся найти свое место в мире.

Но мир этот - именно такой и никакой другой.

Удержусь и не стану пересказывать эту вещь, небольшую по объему, но насыщенную, емкую, но скажу, что и здесь он снова и снова совершает титанические попытки поднять из непостижимых глубин памяти свою Атлантиду...

О политике - хватит.

Теперь попробую приступить к освещению очередного очень интересного, но почти неуловимого сюжета "Как отец наказывал нас, своих детей".

Увы, мы частенько подвергались родительским наказаниям (как правило выговорам, отправлениям сидеть в комнату или, если дело происходило на даче, "под лестницу", кстати сказать, где зимой пребывали в темноте цветочные луковицы амариллисов), но ни одно из этих наказаний не оставило в душе обиды на них, и в памяти, сколько бы я ни копался в ней, сохранилось два-три случая, причем невнятные и смазанные.

Мне бы ужасно хотелось вспомнить, допустим, звонкую отцовскую затрещину, хоть за дело, хоть без дела. Но такого не было. Несколько раз отец пытался нас с сестрой пороть, меня ремнем, а сестру подвернувшимися под руку прыгалками. Но мы устраивали жуткий ор, и начавшаяся было экзекуция прекращалась.

Более отчетливо вспоминаю случай, когда ожидал заслуженного наказания, но вместо этого был не только что помилован, но даже еще и обласкан родителями.

Мы с сестрой вечером, перед сном повздорили, она меня ударила - то ли руками, то ли обидными словами, я вспылил, помчался за ней по квартире, ворвался в нашу детскую и от двери, которую сестра сколько могла удерживала изнутри, прямо с ноги запустил тапкой.

Тапка, пролетев через всю комнату, со страшным звоном врезалась в оконное стекло.

Мы с сестрой вдруг притихли, придавленные случившимся.

Я буквально онемел он ужаса, вызванного содеянным.

Помимо того, что я отлично понимал всё безобразие собственного поведения, меня внезапно ужаснул причиненный дому ущерб. Зима на носу, окна уже заклеены, приготовлены к морозам, и тут - такое!

Наверное наша с сестрой ругань и беготня по квартире накапливали родительское раздражение, готовое выплеснуться наружу. Родители мгновенно примчались на шум, причем папа с грозным риторическим восклицанием:

- Эт-т-та еще что здесь происходит?

Но увидев изломанной формы дыру в стекле, отец тоже притих, прижал меня к себе и стал не ругать, что было бы уместно и справедливо, а успокаивать...

В очередной раз я с внутренним восторгом убедился, как безошибочно он понимает чужую человеческую душу (мою душу).

Его воспоминания о различных случаях из нашего с сестрой детства нам очень нравились, потому что в папином пересказе

превращались в маленькие художественные зарисовки, а кому не приятно вдруг ни с того ни с сего стать одним из героев!

Отец любил вспоминать, как однажды он с совсем еще маленькой Женей на руках наблюдал за мамой, которая чистила морковку.

Они тогда еще жили на Тверской.

Моя сестра пребывала в каком-то очень раннем возрасте, а меня тогда еще не было на свете (у нас с сестрой разница в два года).

Так вот, по папиному рассказу, морковка неожиданно выскользнула из маминых рук и свалилась на пол.

И тут Женя произнесла самую первую фразу в своей жизни.

Она сказала:

- Моковка пала.

То есть "морковка упала".

И еще одна смешная история из репертуара отца о ней же, моей сестре Жене, когда та была маленькая.

Они ехали на машине в подмосковное местечко Клязьму, где родители снимали дачу, и на обочине дороги Женя заметила большую ворону.

Женя показала на нее рукой и уверено проговорила:

- Соловей.

Отец словно бы не закончил рассказ, не поставил точку, а сделал паузу, после которой должен последовать настоящий конец истории.

Так оно и было.

Ты сам домысливал психологическое, даже физиологическое объяснение ситуации.

Маленькая девочка помнила рисунок из книжки с изображенной во всю страницу птицей и прочитанную ей надпись под рисунком - "Соловей". Однако не было никакого масштабного сопоставления соловья с другими птицами, да и вообще какими бы то ни было предметами.

А без этого пойди отличи одну породу птиц от другой!

Живая ворона, расхаживающая по обочине, точь в точь напоминала увиденную в книжке птицу.

Вот тебе и соловей!

Что же касается рассказов обо мне, то отцу самому нравился случай с кроликами.

Эти шелковистые тяжеленькие животные с длинными ушами и куцыми подвижными хвостиками на короткое время поселились у нас на даче.

Собственно говоря, два кролика, которых отец купил для нас у соседского сторожа по нашей с сестрой слезной просьбе,

должны были жить за загородкой все под той же лестницей. Но мы каждую секунду их вытаскивали из-под лестницы, и в конце концов они превратились в равноправных членов семьи, то есть с правом находиться там, где им хотелось, а точнее говоря, где нам того хотелось.

Разумеется, подобный разгул начинался, когда родителей не было дома.

И вот однажды они как всегда в подобных случаях неожиданно вернулись домой и застали кроликов не под лестницей, а на втором этаже, на террасе, где летом была наша детская.

Причем до этого кролики успели погулять по всей даче, оставив повсюду испражнения в форме крупных коричневых фасолин. Коричневые штучки были рассыпаны и по ступеням лестницы, так что и слепой бы их заметил.

На громкие междометия, которыми обменивались пораженные увиденным родители, мы с Женей выскочили из комнаты. Воспользовавшись суматохой, вслед за нами из комнаты вышмыгнули затисканные животные. Топоча лапами, они посыпались по ступенькам лестницы прямо под ноги отца.

Прозвучало привычное:

- Эт-та еще что такое? Кролики?

И тут я, не в силах сдержать восторга, бушевавшего в моей душе, воскликнул:

- Кролики молодцы!

- Да уж, молодцы, - не удержался от реплики отец, но в дальнейшем, вспоминая этот случай, он останавливался на моей короткой, но такой емкой фразе: "Кролики молодцы!" Достаточно было ее произнести, как у всех посвященных появлялась на лице улыбка, а порой и смешок раздавался.

Я же не понимал, что тут такого уж смешного. Кролики-то действительно молодцы!

Поскольку я углубился в столь далекие воспоминания детства, буквально в нескольких фразах опишу нашу дачу по адресу Переделкино, улица Серафимовича, 5 в те самые первые, даже еще военные годы, когда наша семья снова поселилась там, вернувшись из эвакуации.

Буквально в нескольких фразах.

В одной из немногих комнат нашей в общем-то небольшой дачи жил сторож со своей молодой женой и маленькой дочкой. Они держали козу, которая одну зиму даже прожила в даче, под лестницей, за дощатой загородкой. Там ее кормили, и доили из нее питательное и чрезвычайно полезное маленьким детям молоко, ради чего собственно ее и завели, там случались и

всяческие отправления ее организма.

Словом, под лестницей был козлятник.

К лету козу перевели в сарай, где для нее была сделана специальная клеть. В память же о том, что в самой даче под лестницей жила коза, посылая нас в наказание под лестницу, говорили: "отправляйтесь в козлятник".

Что же касается тех двух чудесных кроликов, что завалили дачу пометом, то они были подарены своему бывшему хозяину, который, понятно, не ради удовольствия разводил их в те тяжелые годы.

И еще.

В даче одновременно скапливалось довольно много людей и животных , в том числе и семья сторожей со своей козой-кормилицей, а по жилой площади она была значительно меньше теперешней, хотя, казалось бы, сохранила свои очертания. Однако террасы были летние и на зиму закрывались, а поскольку дача отапливалась печами, то печи и охапки дров отнимали в комнатах много места.

Было тесно, в зимнюю стужу дом промерзал до треска - из комнаты в коридор без одежды не высунешься, пахло козлятником и нужником, который так же находился в даче...

И вообще - все это так странно, не реально, точно этого не было в действительности, а кем-то придумано.

Но эта была жизнь каждого из нас, в том числе и отца, главной фигуры в этой жизни, а главным в его жизни тогда, как и всегда, было творчество.

Маленькие дети на даче не переводились, и уже в шестидесятых, через должное время появилась на свет папина внучка Валентина, Тина - дочь Жени. И уже о ней папа внимательно наблюдал и любил рассказывать о ней и о связанных с ней смешных происшествиях.

Точнее сказать, это были не сами истории, а высказывания девочки Тины по разным поводам.

Однажды на даче, когда Тине было года три, ее потребовалось выставить из комнаты, так называемой столовой, где должен был произойти "взрослый" разговор. Тина по своему обыкновению сидела на ручке кресла, притулясь к деду и перебирала пальчиками поредевшие волосы на его макушке.

Отец млел от восторга!

Однако девочку требовалось удалить, и отец попросил ее:

- Тиночка, побудь у себя!

Тина послушно и охотно слезла с дедушки, вышла из комнаты, но почти сразу же вернулась со словами:

- Я уже побудля!

Когда ее вечерами отправляли спать, а делать это приходилось деду, она еще теснее прижималась к нему и говорила:

- Деда, ладно тебе, ладно!

(Размышление о даче, рассказ о Василии Никифоровиче, о сооружении лестницы и так далее...)

Попытаюсь провести исследование вокруг двух очень важных эпизодов из жизни моего отца. Оба они могли стоить ему жизни, но каким-то чудом он уцелел. Об этих важнейших обстоятельствах в судьбе отца я узнал от него самого.

Надо заметить, что он - по настроению - подробно рассказывал о том или ином моменте своего существования, и если бы чрезвычайная комиссия органов безопасности какого-нибудь языческого бога предала огласке агентурные записи таких рассказов, получилась бы полная и абсолютно зримая история папиной жизни, "рассказанная им самим".

Впрочем все ее элементы, иногда крупными кусками, иногда в мелких подробностях, нашли свое место в его творчестве. Он дал свою полную автобиографию в своих произведениях, причем фактическая сторона дела подкреплена чувствами, глубокими или мимолетными, а также размышлениями, а порой прозрениями.

Ярчайший пример самовыражения.

Теперь перехожу к изложению двух обещанных эпизодов из жизни отца.

Первый.

Речь идет о тюремном заключении, которому отец подвергся в двадцатом году двадцатого века, когда в Одессе в очередной и теперь уже последний раз практически до конца прошлого тысячелетия установилась советская власть и вовсю свирепствовала чека.

Заключенные сидели там без предъявления какого-либо обвинения, а исходя из классового представления тюремщиков-революционеров о виновности того или иного представителя враждебного класса.

Кем был в то время мой отец? Сын преподавателя епархиального училища, получивший чин дворянина (по наследству не передающийся), бывший гимназист и вольноопределяющийся царской армии, участник войны с Германией, дослужившийся по прапорщика и награжденный тремя боевыми наградами, молодой одесский поэт...

Никакого конкретного обвинения в контрреволюционной

деятельности ему не было предъявлено, но биография была явно подозрительной, не "нашей", и в любой момент следствие могло придти к выводу о безусловной виновности и вынесения сурового обвинения.

Пока же в ожидании решения своей участи отец оставался в тюрьме, где, что называется, прижился, попривык и даже продолжал писать стихи. Его перестали вызывать на допросы. По его словам, у него создалось впечатление, будто бы о нем забыли, не обращали на него внимания. И такое положение его устраивало - он оставался в живых.

Смертельная же опасность все это время продолжала нависать над его головой.

Как-то его снова вызвали на допрос, на котором присутствовал незнакомый молодой человек, чекист, художник по профессии, из Харькова или из Москвы, инспектирующий работу молодых советских тюрем. Он вспомнил отца, на выступлении которого присутствовал в одесском обществе поэтов, и его стараниями подозрения с отца были сняты, и отец был отпущен из тюрьмы на волю.

Мельчайшие подробности об этом факте биографии отца можно узнать из таких его произведений, как повесть "Отец", написанная в начале двадцатых годов, или рассказ "Уже написан Вертер", созданный в восьмидесятом году, или в романе "Траве забвения"...

Да и тюремные стихи помогут проникнуть в душевный мир оказавшегося в неволе поэта.

А вот вызволивший отца из неволи чекист и художник Яков Бельский стал на долгие годы его близким приятелем. Он так же, как и отец, жил и работал в Москве, пока не был арестован и расстрелян как злейший враг революции.

Он изображен вместе с отцом и еще одним поэтом-одесситом на хорошо мне известной фотографии, иллюстрирующей в числе прочих второе - девяти томное - собрание сочинений отца.

Отец с нежностью вспоминал о Якове Бельском (о Яше Бельском, так он его назвал), талантливом человеке с большой и доброй душой.

С некоторых пор Яша Бельский перестал работать в ЧК, но по его же словам, "из этой организации не уходят", и поэтому ежегодно проходил там какие-то обязательные сборы.

На этих сборах он узнавал много интересного и по возвращении, хватаясь за голову, называл фамилии стукачей и осведомителей из числа литераторов, которые писали на отца в "органы" доносы.

Веселые застолья, поездки в Ленинград, вообще, жизнь богемы.

Все приобретало другой, зловещий смысл.

Конечно же алкоголь и загулы смягчали реальную картину, давали возможность словно бы пролистывать неинтересные страницы, точно их вообще нет.

Отец рассказал мне, вспоминая то время, что один его добрый знакомый, умный и скромный, как-то заметил с грустью: "Вы живете, как в чаду"...

- Их много!.. Почти все!..

Лицо отца, когда он об этом рассказывал, изменялось, приобретало выражение незнакомого мне лица Яши Бельского. И интонации отцовского голоса - этакого "крика шепотом" - так же копировали его голос.

Потом, много позже, я стал задумываться о том, как же должен был чувствовать себя отец в этом плотном окружении, постоянно сталкиваясь с людьми, пишущими на него доносы.

С течением времени многие (очень многие!) были навсегда вычеркнуты из его жизни, так, возможно, и не поняв за что, наивно полагая, что все шито-крыто...

Мир тесен...

И вот уже после смерти отца "тюремный эпизод" нашел подтверждение в словах Семена Израилевича Липкина, которому стал известен еще до войны если не при странных, то во всяком случае неожиданных обстоятельствах.

Немного о Липкине.

Поэт, мудрец, мыслитель, любовник.

Поговорить с ним, что напиться чистейшей воды. Каждая его фраза выстроена предельно просто. А в совокупности суждение, состоящее из нескольких таких простых гармоничных фраз звучит, как прекрасная мелодия, и организованный вокруг нее мир ясен и органичен.

Почему же любовник?

Рядом с ним, уже давно, а кажется что всегда и вечно - поэт Инна Лиснянская.

Его душа переполнена любовью огромной силы, и иногда кажется, что эта страстная любовь и есть вся его душа. С начала и до конца.

Да что там кажется. Так и есть.

Они едины, но при этом их отношения напряжены до предела. Они предъявляют друг другу невыполнимые требования и выполняют их, потому что в этом их суть, а иначе бы ничего не было.

Поэтические строки двух поэтов, обращенные ко всем, в действительности обращены друг к другу и никому другому.

И получилось, что из множества претендующих, они оказались единственными. Два неустроенных, больных человека, чье хрупкое существование поддерживается крупицами химических соединений, без которых - смерть, вдруг предстали такими, какими и являлись всегда - могучими и мудрыми.

А что же остальные?

Они тоже явились такими, какими всегда и были.

Компания молодых (душой), веселых и разных, объединилась, чтобы создать, не спросясь у начальства, не подцензурный литературный альманах.

(Речь, разумеется, идет о заключительном периоде существования социализма, его догнивания, то есть о конце семидесятых - начала восьмидесятых.)

И альманах был создан, вышел в нескольких экземплярах в "самиздате" на родине, напечатан уже нормальным образом на свободном Западе.

Дело сделано, осталось ответить за содеянное.

У начальства было много способов наказать непослушных и в дальнейшем в некоторой степени подобные наказания последовали. Нужно было выяснить, кто какого наказания заслуживает, кого как наказывать. Кого - по всей строгости. А кого и пожурить довольно будет.

Все участники - люди известные, официально признанные, члены творческих союзов, с наградами и регалиями. Кроме двоих молодых - "не членов". Но им совсем немного оставалось до членства - решение всего лишь одной, самой главной инстанции. И начальство, чтобы отыграться, задумало иезуитский ход - выбрать в этом дружеском монолите самый уязвимый уголок и отбить его.

Ударили по двум молодым претендентам - отказали в приеме в члены.

Чтобы монолиту остаться монолитом, начальство оставило один лишь выход - всем остальным участникам следовало отказаться от собственного членства. Что называется, сказали "а" - говорите "б". Посмотрим, как это у вас получится.

Получилось у Липкина и Лиснянской.

Получилось еще у одного участника альманаха, но тот был уже к тому времени отрезанный ломоть, то есть одной ногой на Западе, и его добровольное "не членство" не усложнило его жизнь, а скорее способствовало дальнейшим успехам в судьбе.

У остальных - не получилось...

Монолит рассыпался.

И начальство уж за одно за это было им благодарно.

К счастью, социализм недолго протянул после упомянутого события.

Меньше десяти лет - неуловимый миг для истории.

А вот для живых людей, формально проявивших твердость, в действительности же просто напросто не изменивших самим себе, это было тяжелое время. Безденежье, полная невозможность публиковать свои произведения, то есть по существу глухой "запрет на профессию"...

В это время на переделкинских аллеях и свела судьба отца с Липкиным и Лиснянской.

Отец и раньше был хорошо знаком с Липкиным - и по Одессе, их родному городу, и по Москве, где им доводилось встречаться на всяческих литературных "мероприятиях".

У них была довольно большая разница в возрасте - лет, приблизительно, пятнадцать, что особенно заметно в молодости. Но в литературе старшинство вовсе не связано с человеческим возрастом.

Оно связанно с чем-то другим, и общаются настоящие писатели всегда на равных.

Во всяком случае отец, отвечая на мои вопросы, связанные с Липкиным, говорил, что уже давно, с тридцатых годов, воспринимал его, как очень яркого литератора, проявившего себя великолепным переводчиком поэзии.

Собственные стихи Липкина "плохо" публиковались, и в конце концов их вообще перестали печатать. Липкин превратился в "чистого" переводчика, правда очень высокого класса. Первача. Но это отнюдь не значило, что он забросил поэзию. Многие годы, десятилетия он продолжал писать стихи, и именно теперь с ними довелось познакомиться отцу.

С творчеством Инны Лиснянской отец так же был практически не знаком, как, впрочем, и остальные любители поэзии, потому что ее лучшие стихи не печатались.

И тут вдруг отцу в руки одна за другой попадают стихотворные сборники высочайшего уровня - "Воля" Семена Липкина и "Дожди и зеркала" Лиснянской.

В этих сборниках - лучшее, написанное поэтами до сих пор.

Должен сказать, что отец был профессиональным читателем. Редкий случай, когда отец откладывал книжку после первых страниц. Я помню лишь единицы. Уж если в его руки попадала книжка, он обязательно дочитывал ее до конца, боясь пропустить даже мельчайшую крупицу "настоящего", и частенько такую крупицу находил даже в казалось бы "безнадежном" произведении.

Хорошая книга приносила ему радость. И такие книги время от времени попадались ему в руки.

И тут вдруг полная неожиданность - оказывается вот уже многие годы рядом существуют два крупнейших современных поэта, достойных признания и славы.

Ведь теперь уже вся современная российская поэзия без их строк рассыпается и теряет масштабность.

Для отца это были счастливейшие дни.

Заходя к нему в комнату, я заставал его в кресле за письменным столом, или лежащим в одежде на кровати с томиком Липкина или Лиснянской, углубленным в чтение с хорошо знакомым мне выражением лица - одухотворенным, с полу улыбкой и добрыми восторженными глазами.

Иногда он, заметив меня, продолжал, не отрываясь, читать, и тогда я тихо выходил из кабинета. Иногда же опускал книжку и глядя на меня блестящими глазами (да-да, в них стояли слезы!) произносил:

- Здорово!

Пусть он использовал какое-то другое слово, а то и вообще молчал, говоря взглядом, но мне важно передать его состояние и его оценку прочитанному.

Мы с отцом много говорили о стихах Липкина и Лиснянской, и он не уставал поражаться и восхищаться союзу этих двух крупнейших поэтов.

- Только руками развести!

Мне посчастливилось присутствовать при разговорах отца с Инной и Семеном Израилевичем.

Это было спокойное общением симпатизирующих друг другу людей, уважающих друг друга художников, но иногда у отца прорывались вдруг восхищенные оценки той или иной запомнившейся ему строки - Липкина или Лиснянской, и тогда мне казалось, что отец испытывает к ним чувство влюбленности.

Может быть общение с ними давало импульс его творчеству, вызывало желание писать?

Все-таки, как это ни грустно признать, ему было за восемьдесят, ему было физически трудно существовать, его

мучили недуги. А он продолжал работать, создавая свои последние произведения "Уже написан Вертер", "Сухой лиман", "Спящий"...

После смерти отца мы часто при встречах с Инной и Семеном Израилевичем говорим о нем.

Много интересного, связанного с моим отцом, приходит на память Липкину.

Как-то в одном из его воспоминаний об отце возник тот давний тюремный эпизод двадцатого года в Одессе.

По своему юному тогда возрасту Липкин мог знать о проделках одесской чека из рассказов своих старших современников.

С таким он как-то случайно столкнулся уже в разгар социализма в одной из столиц Среднеазиатских республик, куда из Москвы был командирован союзом писателей для работы над переводами национального эпоса.

Крупный местный политработник по фамилии, если не ошибаюсь, Беккер, узнав, что Липкин родом из Одессы, рассказал ему про то, как его брат Яков, носящий псевдоним Бельский, в бытность свою чекистом "вытащил" из тюрьмы ныне знаменитого писателя Валентина Катаева а тогда начинающего поэта, попавшего под подозрение органов.

А совсем недавно в поселке Мичуринец (являющимся составной частью городка писателей Переделкино), где Лиснянская и Липкин "получили" литфондовскую дачу, и куда они перенесли из своего хлебосольного московского дома дух доброжелательности и гостеприимства, и где я имею счастье их навещать, Семен Израилевич вспомнил еще один замечательный случай, связанный с моим отцом.

Речь идет о "втором эпизоде" из жизни отца, эпизоде, который, как и первый, тюремный, мог закончиться для него трагически.

Вот что я узнал из рассказов отца.

Во время его выступления на крупном совещании в Центральном комитете всесоюзной коммунистической парии (большевиков) руководителей партии и правительства с представителями советской интеллигенции (постарался ничего не перепутать в названиях и определениях) вдруг открылась незаметная дверь где-то в углу, и отец боковым зрением увидел, что на сцене (или на помосте, где стоял длинный, покрытый красным сукном стол руководителей совещания, а проще говоря руководителей партии и правительства, все там были) появился товарищ Сталин.

(Написал, и самому стало противно).

Отец так передал свое впечатление: лицо в глубоких оспинах маленького роста на вывернутых ногах в мягких сапогах в сером френче с сивыми усами с трубкой в руке несколько на отлете. (Знаков препинания не ищите).

Сталин вышел вперед и, не обращая внимания на замолкшего оратора, похаживая, стал тихим голосом произносить свою очередную историческую речь.

Как прокомментировал отец, его слова немедленно наносились на скрижали и для вечного хранения покрывались лаком.

Руководители партии и правительства вместе со всем переполненным залом, затаив дыхание, слушали вождя.

Прерванный на полуслове отец тихо ждал, когда сможет продолжать свое выступление. И дождался. Закончив очередную фразу, вождь сделал характерный жест, точно поставил в воздухе запятую своей трубкой, и скромно отошел в сторонку.

Отец продолжил было прерванное выступление, но не успел закончить мысль, как вождь снова выдвинулся вперед и снова заговорил. И снова присутствующие с огромным вниманием и по обыкновению затаив дыхание с нескрываемым восхищением внимали его мудрым речам.

И снова Сталин отошел в сторонку, проговорив:

- Продолжайте, пожалуйста...

И тут присутствующих, не успевших еще перевести дух после по обыкновению основополагающих высказываний вождя, ждало новое потрясение.

На вежливое предложение Сталина продолжить выступление отец вдруг сказал, обратившись к нему:

- После того, как вы столь блестяще закончили мое выступление, мне нечего больше добавить.

И вежливо склонил голову.

Как можно было представить себе по рассказам отца всю эту картину, в зале повисла мертвая тишина.

Руководители партии и правительства за длинным столом замерли, как по команде. Замерли так же остальные, рядовые участники совещания.

Товарищ Сталин приостановился, трубка замерла в воздухе на пол пути к усам.

В многолюдном зале отец мгновенно ощутил вокруг себя полную пустоту. Зал замер как в волшебной сказке.

И тут он заметил сбоку, что опущенный ус Сталина чуть-чуть двинулся вверх, обозначая улыбку - ухмылку.

Реакция вождя расколдовала зал, все шумно зашевелились

и стали гневно переглядываться, негодуя по поводу хамской выходки Катаева и по хорошему осуждая проявленную к нему мягкость Иосифа Виссарионовича. (Не сразу же расстрелял...)

Впрочем, все знали переменчивый нрав вождя и на всякий случай отводили от отца взгляды, или же смотрели сквозь него, и после окончания совещания отец выходил из центрального комитета, как прокаженный.

Однако обошлось.

Об этом случае есть воспоминания участника того памятного совещания, я о них слышал, но прочитать не довелось.

А вот что по этому поводу рассказал мне Семен Израилевич Липкин.

И снова, как и в первом "опасном эпизоде", все началось в столице одной из советских среднеазиатских республик, где проходило празднование по поводу многовековой даты со времен создания национального эпоса.

На юбилей съехались виднейшие представители литературы и культуры со всего Советского Союза. В качестве одного из главных действующих лиц присутствовал тем и переводчик эпоса Семен Липкин.

И вдруг, рассказывает Семен Израилевич, неожиданно большинство участников отзывается в Москву.

Причина - неизвестна.

Празднование продолжается, но в сильно урезанном составе.

Вернувшись после окончания торжеств, Липкин отправляется в дом творчества писателей в Переделкино и во время прогулки на берегу Самаринского пруда сталкивается с бывшим тогда руководителем союза писателей Александром Александровичем Фадеевым, который жалуется ему на безобразное поведение своего приятеля Вали Катаева на совещании в Центральном Комитете с участием руководителей партии и правительства во главе с товарищем Сталины.

- Как он не понимает, - кричал красный от возбуждения Фадеев, имея в виду отца, - что я не смогу его защитить!

Но Фадеев не рассказал Липкину, в чем же была суть скандала.

А суть заключалась в том, что на совещании подвергался уничтожающей критике писатель из рабочих Александр Авдеенко, причем не за литературное произведение, а за статью, где тот хвалил оборудование шахт и различных механизмов за рубежом и ругал технический уровень родных социалистических предприятий.

(Впрочем, кажется, формальным поводом к партийному

разбирательству явился художественный фильм по сценарию Авдеенко...)

Вся несуразность ситуации состояла в том, что именно в результате идеологической политики партии в области литературы ряды советских литераторов должны были пополняться все большим и большим числом писателей, выдвигаемых из среды рабочих, то есть пролетариата.

Партии хотелось, чтобы социалистическая литература делалась идеологически выдержанными товарищами.

А уж кто усомнится в идеологической выдержанности выходцев из класса гегемона.

И тут вдруг такое!

Насколько я могу понять, предполагалось, что и выступление отца будет в духе всего совещания направлено против Авдеенко.

Свое выступление, однако, отец построил не как критику конкретного писателя, а высказал свое отношение вообще к идее выдвижения писателей из народа.

Отец заявил, что писателя невозможно выдвинуть, а он должен сам по себе появиться, и уж тем более писателей никак не может быть так много.

Сталин остановил отца и произнес тираду о том, что писателей должно быть еще больше, чем есть.

Отец не согласился и заметил, что нужно следовать примеру Франции, где существует Академия, состоящая из ста "бессмертных". А чтобы в числе академиков появилось новое лицо, кто-то из "бессмертных" должен был умереть.

Тут Сталин снова прервал отца, еще раз провозгласил точку зрения партии на эту проблему, после чего отец и произнес обращенную к вождю свою ставшую печально знаменитой фразу.

Невольно своим выступлением отец скомкал первоначальную задачу совещания в Центральном комитете, призванного заклеймить зарвавшегося писателя - выдвиженца из рабочих, и перевел весь гнев общественности на себя

В этом-то и заключалось главное "хамство" Катаева по отношению к Сталину.

И все же это оказалось не смертельно...

До сих время от времени по телевизору крутят кинокомедию "Цирк", известную как чуть ли не лучшая картина кинорежиссера Григория Александрова с лучшей ролью его знаменитой жены, великой звезды актрисы Любовь Орловой.

В отличие от других фильмов, в титрах этой комедии не значится имя сценариста.

Сей факт вовсе не означает, что таковой здесь отсутствует. Более того, сценарий фильма сочинили целых три автора - Илья Ильф с Евгением Петровым и Валентин Катаев.

О том же, как случилось, что имена сценаристов отсутствуют в титрах, мне весело рассказал отец.

Но сначала небольшая предыстория.

Прежде чем стать сценарием фильма, пьеса с несколько другим названием - "Под куполом цирка", "принадлежащая перу" трех известных авторов, с огромным успехом игралась на сценах Московского и Ленинградского мюзик-холлов в исполнении тогдашних театральных звезд и каждый вечер собирала аншлаги.

Именно это и побудило режиссера Григория Александрова предложить соавторам успешной пьесы "переложить" ее в киносценарий.

Узнав о замысле режиссера создать веселую кинокомедию со смешными репризами, музыкальными номерами, цирковыми трюками Илья Ильф с Евгением Петровым и Валентин Катаев согласились и с удовольствием принялись за работу.

И сценарий был написан, сдан на студию и принят к постановке.

Поначалу все шло благополучно, но постепенно авторы стали замечать, что режиссер, без согласования с ними, вносит в сценарий поправки, с которыми они никак не могли согласиться.

Сценарий с их точки зрения явно ухудшался.

И вот однажды, когда авторы сценария и режиссер в очередной раз собрались вместе, отец высказал недоумение по поводу непонятных изменений в сюжете и в репликах.

По сути, как поначалу казалось авторам, эти изменения ничего принципиально не меняли и их вполне могло бы не быть.

- Вы знаете, Гриша, - сказал отец. - у авторов сценария может сложиться впечатление, что вы хотите примазаться к сценарию, чтобы получать авторские.

В те благословенные времена, объяснил мне отец, авторы киносценариев получали авторские отчисления за каждый показ кинофильма. При условии большого зрительского успеха это могли быть баснословные гонорары.

Забегая вперед, скажу, что так оно и получилось.

Григорий Александров ухмыльнулся и заявил твердо, что у авторов сложилось превратное впечатление, и он не претендует на авторские.

- Вы уверены? - спросил отец.

- Абсолютно!

- Ну вот и отлично! Вы дадите нам расписку, что не претендуете на авторские, и поставите на ней свою подпись.

Согласны?

- Согласен.

- Тогда пишите.

- Прямо сейчас?

- Прямо сейчас.

Александрову ничего не оставалось, как "прямо сейчас" написать расписку, которую отец спрятал в карман, а затем отнес Хесину, председателю Всесоюзного агентства по охране авторских прав, известного всем советским авторам по аббревиатуре ВААП.

Работа над фильмом продолжалась.

И продолжались вмешательства режиссера в текст сценария.

Но теперь уже стала проглядывать политическая тенденция.

По сюжету иностранные гастролеры приезжают в Советский Союз из идеологически враждебной гитлеровской Германии, а коррекция сюжета, совершаемая Александровым, "переводит стрелки" на Соединенные штаты Америки.

То есть теперь уже Советскому Союзу противостоит не Германия, а Америка.

Устав бороться, авторы пользуются последним имеющимся у них правом, а именно - снять свои фамилии с титров готового фильма.

У фильма бешеный зрительский успех, аншлаги в кинотеатрах и как естественное следствие - огромные авторские отчисления всем трем автором сценария.

И Александрову тоже, но только лишь как режиссеру.

Свой рассказ отец заканчивал так.

- Приезжая в гости к своему знакомому (называлась фамилия знаменитого актера и режиссера, который жил в соседней с родителями квартире на Тверской), Гриша Александров всякий раз звонил в нашу дверь и когда я открывал, с язвительной улыбкой спрашивал: - Получаете авторские?

- И что ты говорил?

- Получаем, - отвечал отец и сейчас, спустя годы и годы, на его лице появлялась озорная улыбка точь в точь такая, как и тогда на полутемной лестничной площадке в доме на Тверской.

Позволю себе небольшой комментарий по этому поводу.

С точки зрения "большой" политики "прав" оказался именно режиссер фильма "Цирк", а не сценаристы.

Возможно Александров интуитивно потрафил начальству, а может быть начальство и впрямую указало ему, что главным противником (или врагом) нашей социалистической родины был не немецкой фашизм, а американская демократия.

Во всяком случае факт остается фактом: критическая

направленность фильма с Германии переориентирована на Америку.

А то, что это относится к "большой" политике, имеет еще одно убедительное подтверждение в судьбе другого "довоенного" произведения отца, повести "Я, сын трудового народа...".

Повестью, как литературной основой для музыкального сочинения, заинтересовался композитор Сергей Прокофьев.

По либретто, написанному совместно с отцом, Прокофьев создал оперу "Семен Котко" (по имени главного персонажа повести).

Первая постановка оперы готовилась в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича - Данченко.

Однако дальше генеральной репетиции дело не пошло.

Началось "замирение" с гитлеровской Германией, а поскольку в самой повести и, следовательно, в опере, сюжет которых разворачивался на Украине во времена революции и гражданской войны, немецкие завоеватели вид имели с точки зрения большевистской идеологии довольно-таки не приглядный, то есть выступали на стороне контрреволюции, постановка спектакля была прикрыта.

В последние десятилетия судьба оперы "Семен Котко" была более удачной.

Большой успех сопутствовал московской постановке спектакля в Большом театре в семидесятых годах, осуществленную Борисом Александровичем Покровским и дирижером Фуадом Мансуровым.

Мне посчастливилось побывать не только на премьере спектакля, но и на рядовой, так сказать, рабочей репетиции на большой сцене прославленного театра.

Впрочем, репетиция вовсе не казалась рядовой. Напротив, она была какой-то особенной, хотя вроде бы никаких ярких событий на полу пустой и слабо освещенной сцене не происходило.

Особый интерес репетиции придавало присутствие в зрительном зале вместе с Покровским отца.

Огромный зал был погружен в темноту. Можно даже сказать - кромешную темноту.

Вообще, картина была фантастическая.

Сверху, с колосников на сцену опускались столбы слабого света, которые еле-еле освещали артистов и рабочих сцены.

Время от времени Покровский своим резким громким голосом подавал реплики, обращаясь к певцам или же к рабочим сцены или осветителям.

После каждой такой реплики что-то неуловимо менялось и

в расположении фигур, и в общей освещенности.

Все происходящее могло бы показаться бездушным и механическим, если бы не фигура Покровского, излучающая артистизм и неожиданный юмор, что давало понять - здесь не заводский цех, а зыбкий, мерцающий мир большого искусства, нащупывающего свой еле уловимый, но единственно возможный путь.

- Заслуженный артист Володя! - кричал из-за своего режиссерского пульта Борис Александрович, обращаясь к одному из Владимиров, находившихся на сцене. - Вы же совсем не то делаете! Неужели так трудно сосредоточиться и вспомнить, что вам говорилось!

- Совсем не трудно, - звучало в ответ со сцены.

- Ну и прекрасно!

Происходящее завораживало, затягивало.

Я поглядывал на отца, и пытался понять, что он чувствует и о чем он думает в связи с тем, что декорации должны воспроизвести написанные им картины природы, а артисты перевоплотиться в придуманных им персонажей.

Отец задумчиво, даже одухотворенно смотрел куда-то в верхнюю часть сцены, внезапно улыбнулся, наклонился ко мне и проговорил:

- Там, в темноте, на колосниках сидят петухи, в разное время пущенные Шаляпиным, Собиновым. А рядом пристроился молодой петушок, только что пущенный заслуженным артистом Володей.

Не могу сказать со всей определенностью, но, кажется, свою повесть отец писал к какой-то годовщине образования Красной Армии, и экземплярами этой повести легендарный маршал награждал выпускников какой-то краснознаменной военной академии.

Проходное произведение профессионала, написанное для денег.

Но в том-то и дело, что "строительный материал" для этой "проходной" вещицы был первоклассный - наблюдения из народной жизни, атмосфера грандиозного слома в судьбе могучей страны, рассыпающейся на глазах, свежие чувства любви, страсть, разлука смертью, и живые люди со своими характерами и стремлениями.

Может быть и гениальный композитор Сергей Сергеевич Прокофьев собирался сочинить для денег что-нибудь проходное, воспользовавшись своим профессиональным мастерством.

А получилось нечто бессмертное.

Рассказывая о том - "опасном" - совещании в Центральном Комитете, отец упомянул дверь где-то сбоку, откуда бесшумно и внезапно появился Сталин.

Небожитель предстал перед людьми, явившись из своего таинственного мира, скрытого за незаметной дверью.

Этот образ - таинственная дверь, скрывающая какой-то другой, недоступный никому из смертных мир - волновал отца.

Ну, идет совещание, ну, совещание посетил руководитель партии и правительства, ну, произнес речь.

Все это обычно, все это рутина.

Другое дело - откуда он явился и куда он исчезнет...

В марте 1953 года, сразу же после смерти вождя, отец написал воспоминания о Сталине.

Работа была заказана для "Нового мира", где отец в ту пору был членом редакционной коллегии, и подобные задания получили сразу несколько человек.

Как сейчас помню, рукопись состояла из девятнадцати плотно исписанных страниц. Отец писал воспоминания с воодушевлением, с поставленной задачей справился очень быстро.

Предполагалось, что все эти произведения, написанные самыми известными в ту пору писателями, поэтами и журналистами "Нового мира" вот-вот появятся в печати и станут достоянием страдающих от неизбывного горя читателей.

Дни шли за днями, вождя похоронили, а несколько бесценных рукописей все не публиковались и не публиковались.

Рассказываю о своих впечатлениях мальчика - подростка, о своем недоумении по поводу такой задержки с публикацией. Но до меня дошло, что отец знает что-то большее. Он не удивлялся, и даже однажды сказал как бы вскользь, что все написанные воспоминания были куда-то увезены из редакции и авторам дали понять, что о рукописях следует забыть.

Однако еще вечером того дня, когда воспоминания были написаны, отец перед тем, как "сдать" рукопись в редакцию, по моей горячей просьбе прочел их вслух.

Со слезами на глазах и с горечью в сердце я прослушал папино сочинение и оно мне очень понравились. Но к сожалению почти ничего из этих воспоминаний не запомнилось. Возможно, крупицы фактов были растворены в большом количестве эмоциональных размышлений.

Хотелось бы сейчас без слез на глазах и без горечи в сердце прочесть то, что было написано тогда отцом, по горячим следам и в том именно душевном состоянии.

И не только заметки отца, но и других авторов.

Воскрешаю факт существования сгинувших рукописей для того, чтобы подтвердить хорошо известную истину - в те тоталитарные времена ничто не могло появиться в печати только лишь по желанию автора.

Требовалось разрешение руководства.

Со смертью Сталина политика резко становилась другой, менялся объект поклонения, и новое руководство решительно меняло оценки...

Что же касается воспоминаний, не написанных, а услышанных мною из уст отца, то некоторые я очень хорошо запомнил, потому что они были сильно окрашены эмоциями.

Помимо воли отца личные наблюдения за Сталиным, его повадками, жестами, походкой были очень зримы, рождали представление о живом персонаже, даже просвечивали черты характера, но не несли прямой оценки. Они были как бы бесстрастными, сторонними.

Но вот когда диктатор представал в пересказанных отцом впечатлениях других людей, его личность окрашивалась в довольно мрачные тона.

Мне запомнились две цитаты из рассказанного отцу Демьяном Бедным о его грозном и опасном соседе, занимавшем квартиру в том же кремлевском коридоре.

Демьян Бедный, большой библиофил, любитель и почитатель книг, рассказал отцу, не скрывая презрения, как Сталин своим толстым и коротким указательным пальцем неряшливо разрывал неразрезанные страницы в новой книге, взятой у Бедного на прочтение,

С тем же презрением и даже еле скрытым негодование Демьян Бедный как-то рассказал отцу, когда тот пришел к нему в гости в его квартиру в Кремле, что первого мая увидел на праздничном столе вождя свежую землянику.

- У великих князей такого не было!

Свое отношение к лучшему другу советских писателей отец ненавязчиво привил и мне, хотя в те тяжелые времена не предпринимал попыток раскачать мое чувство обожания вождя.

Понизив голос, доведя его до шепота, родители на всякий случай предупреждали нас детей, чтобы мы о чем-то молчали на улице. Учила мама, а папа с тревожным озабоченным видом выражал молчаливое согласие.

Мы твердо усвоили правило: то, о чем можно говорить дома, нельзя во дворе.

Так сказать, двойной стандарт.

Отец некоторое время размышлял над пьесой о Сталине. Главным персонажем должна была стать старая няня, многие года

прожившая в семье диктатора и вынесшая ему в конце концов смертный приговор, который сама же и привела в исполнение, отравив тирана.

То есть отец предполагал, что Сталин был умерщвлен кем-то из домашних, кто не мог вынести преступлений и решил положить конец злодеяниям.

Разумеется, речь идет не об истинных фактах, а о лишь о художественном осмыслении реальных событий.

Кто знает, существовала ли в действительности женщина, няня в семье Сталина, душа которой не смогла смириться со злодеяниями Хозяина. Причем, со злодеяниями не только семейными, но и в масштабах страны и мира.

Не стану расшифровывать и комментировать замысел пьесы, потому что отец довольно скоро остыл к нему, не найдя, видимо, достаточно весомых подтверждений своему предположению. Но этот замысел красноречиво отражает его отношение к чудовищной и кровавой эпохе сталинизма и уверенность в силе и справедливости нравственной оценки, которую дает всему случившемуся рядовой представитель народа - старая няня.

Вернемся к образу приоткрывшейся в стене двери.

Величью гения не верь,
Есть только бронзовая дверь
Во тьму открытая немного
И два гвардейца у порога.

В этом четверостишии отца (1952 год), названном "Могила Тамерлана", а в действительности посвященном мавзолею Ленина на Красной площади, также присутствует маленькая дверь, за которой - тайна.

Личная жизнь вождя, сокрытая за ней, постепенно становится известной, перестает быть тайной.

Однако же ее вытесняет какая-то другая тайна.

Возможность новой тайны беспокоит, и неудивительно поэтому, что самым первым произведением "новой прозы" "нового" Катаева, или, как отец ее иронически называл, "мовизма", стала повесть "Маленькая железная дверь в стене".

Это произведение о жизни Ленина в Париже.

В самом начале двадцатых годов, когда отец уже перебрался в Москву и, сотрудничая в Народном комиссариате по делам образования, общался с Надеждой Константиновной Крупской, он просил познакомить его с Лениным.

Крупская выразила свое согласие и даже "подвела политическую базу" под возможность такого знакомства.

Якобы вождю мирового пролетариата и руководителю молодой советской республики интересно было бы за чашкой чая поговорить с молодыми литераторами, занимающимися агитацией и пропагандой.

Крупская объясняла, что сейчас Владимир Ильич хворает и со встречей придется немного подождать:

- Вот Владимир Ильич поправится...

Как известно, этого не случилось.

На последующую вскоре смерть Ленина отец откликнулся стихотворением - очень напряженным, жестким.

Стужа, птицы замерзают налету, жизнь превращается в застывшую скульптуру. Не мог не найти отражения в этой поэтической работе факт-слух, ставший тогда известным и произведшим на отца сильное впечатление - мозг Ленина окаменел от склероза и в пальцах анатома от него, как от каменного, отскакивал пинцет.

Задумав книгу о Ленине в Париже, отец меньше всего собирался делать какие-то биографические открытия, связанные с пребыванием вождя мирового пролетариата в самом буржуазном, роскошном и элегантном городе мира. Все было хорошо известно партийным историкам, на какие-то факты было наложено "табу" (пьянство и "матримониальные курбеты", если таковые были, и остальное в том же роде), и отец вовсе не желал никаких разоблачений Ленина.

Его задача была самой что ни на есть простой - посетить места, где бывали Ленин и Крупская, и по возможности "зримо" описать эти уголки Парижа.

Элементарная задача для "исторического репортера".

Но отец не был историческим репортером.

И хотя его блужданиям по "Ленинским местам" сопутствовали разные мелкие открытия, способные вызвать глубокую радость у поклонников вождя, он искал другое - таинственную и единственную "маленькую железную дверь в стене".

Нашел ее, нашел так же возможность отомкнуть, и за ней снова, уже в который раз за бесконечную творческую жизнь, обнаружил свою Атлантиду.

На сей раз то был огромный ангар французского исторического музея военной авиации, где в числе множества экземпляров самых разных самолетов всех времен и народов отец с замиранием души встретил своего старинного знакомца еще по дореволюционному одесскому детству - знаменитый летательный аппарат Блерио...

Плоский, мало выразительный портрет вождя будущей

революции на фоне великой эпохи.

Повесть "Маленькая железная дверь в стене", произведение формально конъюнктурное, выполненное для галочки идеологических начальников (ездишь в Париж, так отрабатывай!) явилась для отца ни чем иным, как очередной попыткой воскресить навсегда исчезнувшее.

Мне довелось побывать в Париже вместе с отцом, ходить с ним по улочкам Латинского квартала, по набережным Сены. При мне он сделал художественное открытие по поводу двух строк стихотворения Мандельштама, посвященное этому великому городу:

И во дворе военной школы
Играли мальчики в футбол.

Мы с отцом возвращались домой с правого берега реки на левый в гостиницу на авеню де ля Бурдоне - спустились к Сене с лестниц Трокадеро, затем двинулись по мосту Йены в сторону Эйфелевой башни, на Марсовом поле полюбовались игрой энергичных и азартных пожилых французов в шары, и когда подходили к Эколь мелитер, за оградой которой на плацу молодые люди занимались физкультурой, отец схватил меня за плечо и воскликнул:

- Эколь мелитер это ничто иное, как военная школа! И там он видел мальчишек, гонявших футбольный мяч!

И снова повторил мандельштамовское двустишие.

Как-то отец повел нас с мамой обедать в ресторан Куполь на бульваре Монпарнасе.

Народу было много, мы ждали своей очереди в американском баре, так сказать, в предбаннике главного ресторанного зала.

Вот выкликнули "Месье Катаев" (с ударением на последнем слоге), и мы отправились к заказанному столику.

К хорошему быстро привыкаешь, но память вдруг возвращала в родную социалистическую Москву и сердце сжималось от тоски при воспоминании пустых серых пространств и суровых бездушных солдат, охраняющих узкие проходы, ведущие через границу твоей страны в остальной мир, в затем - в обратную строну. И тогда клетка снова захлопывалась.

А тогда в Куполь неожиданно к нашему столику приблизился скромный пожилой француз в сером твиде с доброжелательной улыбкой и представился. Это был хозяин ресторана, который помнил отца еще по тридцатым годам и сейчас подошел возобновить знакомство.

По легкому мановению его руки официант подал бутылку вдовы Клико во льду и хозяин легендарного ресторана поднял

бокал шампанского за здоровье мадам и месье Катаев.

Позже, на вечерней Парижской улице, обсаженной платанами и сияющей золотыми огнями и алыми пологами над витринами кафе, отец с показным недоумением пожимал плечами и глаза его сияли счастливым озорством.

Наверное в эти короткие мгновения он был спокоен и счастлив.

Как бы за скобки выносилось, что память о его существовании в этом мире продолжалась, хотя он проводил свои дни далеко, далеко отсюда. В какой-то степени он оставался гражданином мира, хотя порядки его страны не предполагали такого для своего гражданина.

И еще два эпизода, связанные с любимой им Францией.

Году, кажется, в шестьдесят восьмом отец получил приглашение возглавить жюри международного фестиваля короткометражных фильмов во французском городе Туре.

Он взял с собой во Францию мою сестру Женю, и из ее восторженных и образных рассказов я получил представление об этой интереснейшей с налетом французского романтизма поездке.

Дело в том, что отца, как Председателя, то есть очень важную персону, вместе с остальными членами жюри этого престижного кинофестиваля, выдающимися интеллектуалами, деятелями культуры европейских стран, поселили в средневековом замке в окрестностях Тура отдельно от рядовых участников фестиваля - режиссеров и других создателей фильмов.

Все было устроено очень роскошно, дорого, красиво, с ужинами при свечах и живых звуках средневековой музыки, с интеллектуальными беседами и так далее и тому подобное.

Было сделано все, чтобы на Председателя жюри никто из делегаций стран, участвующих в конкурсе, не мог оказать давления в пользу "своей" ленты. А поскольку отец был гражданином Советского Союза и в фестивале участвовал фильм советского режиссера, то предполагалось, что мнение Председателя жюри в пользу его соотечественника безусловно будет принято в расчет при присуждении Гран При.

Таковы были, так сказать, узаконенные издержки национальной принадлежности приглашенного Председателя жюри.

Но во время конкурсного просмотра отец заинтересовался английской короткометражкой о школьном сельском учителе, который вдруг осознал, что человек создан смертным и что жизнь каждого из нас конечна.

Отец буквально влюбился в этот фильм и вместе с остальными членами жюри был убежден, что он достоин главной награды.

Вопрос о национальной принадлежности фильма ушел в сторону и решало лишь одно - художественность.

После возвращения с фестиваля отец долго и с увлечением рассказывал об английском фильме, продолжая находить в нем все новые и новые достоинства, а про советской фильм говорил с легким презрением и даже обидой, потому что тот по уровню был ниже любого другого конкурсного фильма.

Приведенный эпизод можно было бы отнести к такому, например, сюжету: "Катаев и Франция".

А вот следующий?

Речь снова пойдет о Франции, которую мои родители стали активно "обживать" после первого совместного посещения прекрасной страны и ее прекрасной столицы в пятьдесят шестом году во время морского круиза вокруг Европы.

К ним в гостиницу пришел познакомиться с отцом знаменитый французский писатель, Нобелевский лауреат, автор мирового бестселлера "Чума" Альбер Камю.

Как оказалось, он был поклонником отца и в свое время на него произвел сильное впечатление роман "Растратчики", переведенный на французский язык. Каким-то странным образом роман из советской жизни двадцатых годов повлиял на французского автора, повествующего о полу фантастических событиях, происходивших более чем через двадцать лет в совсем другой стране...

"Граф Гвидо вскочил на коня!"

Эту фразу на протяжении всего романа "Растратчики" произносит советский бухгалтер.

"Амазонка скакала по Булонскому лесу..."

Эту фразу все пишет и пишет герой романа "Чума" французский почтовый работник.

Писателям было о чем поговорить.

Камю несколько часов провел в гостиничном номере родителей, но каждый раз беседу прерывал непрошеный гость, сотрудник советского посольства, который как приклеенный (по выражению отца) сидел все это время на стуле, не отлучаясь ни на секунду, словно бы поклялся испортить такую интересную для писателей встречу

Это ему полностью удалось.

Отец с плохо скрываемой яростью говорил о бестактном дипломате (во всяком случае я не почувствовал, что отец заподозрил его в злом умысле).

- Как он не понимал, что он нам мешает! - восклицал отец, рассказывая о той встрече.

К недобрым чувствам в адрес горе-дипломата прибавилось через некоторое время чувство горечи: вскоре Альбер Камю погиб в автомобильной катастрофе.

Машиной в тот роковой день управлял сын Альбера Камю.

еще.

В связи с непроизвольно возникшим сюжетом "Гражданин мира" мне хочется рассказать об одном случае, который произошел в отсутствии отца, но имеет к нему прямое отношение.

В середине семидесятых годов судьба занесла меня на борту советского грузового судна, приписанного к Одессе, в Гамбург.

Если бы книжка была не об отце, а обо мне, можно было бы написать пространное объяснение, каким образом это со мной произошло, каковы были мои переживания и так далее, и тому подобное.

Речь, однако, не обо мне, и я продолжу.

Из Гамбурга, знаменитого западногерманского (в ту пору Германия делилась на Восточную и Западную) портового города на Эльбе происходит прапрабабушка моего отца по материнской линии.

Раненый участник войны с Наполеоном был пленен в одном из сражений с французами неподалеку от Гамбурга и для лечения помещен в дом местного священника, где и влюбился в дочь хозяина.

Любовь оказалась взаимной.

Историю эту отец, далекий потомок тех персонажей, изложил в романе "Кладбище в Скулянах".

Таким образом для меня немецкий город Гамбург не был совсем уж чужим.

Сей факт, подвернувшийся под руку, дал возможность намекнуть на происхождение отца, но к тому, о чем я собираюсь рассказать, отношения не имеет.

Так вот.

Как-то, вернувшись с берега на судно, дед (так на море называют старших механиков) с воодушевлением сообщил, что продавщица маленького магазинчика, где он "отоварился" некоторым количеством ходового тогда на черном рынке нашей страны кримплена, полька по происхождению, живущая сейчас в Западной Германии, выразила горячее желание познакомиться со мной.

Дело в том, что когда дед с ней разговорился и рассказал,

что он советский моряк из Одессы, девушка на ломаном русском языке сообщила, что в Одессе родился ее любимый писатель Валентин Катаев.

Дед, конечно же, не удержался и довел до ее сведенья, что как раз на его сухогрузе в настоящее время находится не кто иной, как именно сын ее любимого писателя.

Дед потребовал, чтобы я непременно пошел с ним на берег и посетил в припортовом магазинчике девушку Биату, которой поклялся привести меня.

Биата, полноватая светловолосая девушка с серыми глазами, никак, казалось, не могла поверить в свою немыслимую удачу - мое появление в ее тесной, набитой дешевым барахлом лавочке.

Она договорилась с хозяйкой, что уйдет на час другой, и повела нас в бар угостить пивом и поговорить.

Время как раз было неудачное - все бары на ближайших улочках были закрыты, обычный перерыв среди дня, но девушке удалось уговорить знакомого югослава и тот пустил нас в свой бар и налил по кружке пива.

Биата на ломанном русском расспрашивала меня об отце и буквально наизусть цитировала ее любимую вещь отца "Святой колодец", который читала еще в Гданьске до своей иммиграции в Германию и на русском языке, и в переводе на польский.

Меня она также хорошо знала, как одного из персонажей любимой повести.

Девушка буквально потребовала от меня принять отцу в подарок рубашку и галстук из своего магазина и письмецо с ее адресом.

Судя по всему, я столкнулся с фанаткой отца.

Месяца через два я вернулся в Переделкино, передал отцу вместе со своим подробным отчетом посылку от поклонницы и письмецо. Отец, который отвечал на каждое письмо, ответил Биате, та, в свою очередь, ответила ему...

Повторю: отец отвечал на всякое письмо, иногда заставляя себя.

Но вот короткая переписка с польской девушкой Биатой из немецкого города Гамбург доставила ему удовольствие.

Здесь был упомянут роман "Кладбище в Скулянах", где отец прослеживает двухсотлетнюю историю своей семьи и в связи с этим рассказывает об исторических событиях тех прошедших эпох.

Причем многие из упоминаемых событий, казалось бы, навсегда ушедшие в прошлое, потускневшие, затянутые патиной

времени, такие, скажем, как кавказская война девятнадцатого века, оказываются никуда не делись, а продолжают существовать и так же актуальны в наши дни, как и века назад.

Что имел в виду отец, приступая к работе над этой своей вещью?

Думаю, он не ставил перед собой какой-нибудь глобальной задачи, скажем, попытаться понять и осмыслить ход истории.

Очевидно, в данном случае, как и всегда, его охватила непреодолимая потребность в художественных образах и человеческих чувствах и ощущениях рассказать о живых людях, их взаимоотношениях, нарисовать картины ушедшего быта и вечной природы.

Нет большого смысла сейчас разбирать особенности этого произведения.

Роман создан, и каждый интересующийся имеет возможность оценить его достоинства, проанализировать, просто получить удовольствие от прозы.

Но я отчетливо помню, как отец приступал к работе над своим новым произведением, не зная, что из этого выйдет и вообще выйдет ли что-нибудь.

Отец был безусловно сильно увечен начальным этапом работы, очень кропотливой, трудоемкой, требующей огромного внимания и воображения. Речь идет о каким-то чудом сохранившихся и попавших в его руки нескольких ветхих тетрадях, представлявших собой дневниковые записи его прапрадеда, молдавского помещика из местечка Скуляны, сына русского воина, участника заграничного похода российской армии против Наполеона и принявшей православие уроженки Гамбурга.

Каждое утро отец, "как прикованный" (по его же выражению) садился за письменный стол, вооружался лупой - большим увеличительным стеклом с приделанным к нему каким-то чудесным образом ручкой, подарком своего анонимного почитателя, и вчитывался в плохо сохранившиеся строки, выведенные скверным старинным почерком.

Обычно отец писал в первой половине дня, но сейчас изменил многолетней привычке и задерживался за письменным столом до позднего вечера.

Он был поглощен чтением старинных тетрадей, разборкой непонятных слов, разгадыванием плохо различимых букв. Его тянуло к столу, и он вопреки обычаю ничего нам, домашним о прочитанном не говорил.

И так продолжался ни день, ни неделя, а несколько месяцев.

В конце концов он разобрал все до последней закорючки, вошел в материал и уже с удовольствием и подробно пересказывал нам содержание прочитанного, а иногда и зачитывал некоторые особенно яркие куски дневниковых записей.

Его рабочий день снова вошел в привычную колею, он уже твердо знал, что делать с приплывшими в его руки бесценными записками и уже планировал поездку в Молдавию, в Скуляны, где вскоре оказался и на местном кладбище разыскал замшелый надгробный камень на могиле своего предка, от имени которого начал повествование:

"Я умер от холеры тогда-то и тогда-то..." и так далее.

Как уже говорилось, в этом произведении отец прослеживал историю своего рода с материнской, так сказать, украинской стороны.

Очень интересовала его и отцовская линия, но там ему были известны лишь родители отца - православный священник Василий Катаев, настоятель Вятского собора и его жена с довольно странным женским именем Павла.

Трое сынов вятского священнослужителя не пошли по духовной части, а переехали в Одессу и поступили на разные факультеты Новороссийского университета.

На юге жилось легче, дешевле.

Сюда же после смерти мужа переехала матушка Павла доживать свой век за ширмой в скромной квартире своего сына Петра, папиного отца, преподавателя гимназии и женского епархиального училища.

Отец при мне размышлял о роде Катаевых и высказывал предположение, что они происходят из ушкуйников, разбойников, скрывавшихся с незапамятных времен в новгородских и вятских дремучих лесах.

Никаких свидетельств тому у отца не было, только смутные соображения.

Он постоянно размышлял о происхождении своей фамилии, и очередная догадка могла вырваться на свет Божий из глубины его души в любой момент, неожиданно и непредсказуемо, что и случилось на страницах романа "За власть советов".

В одесских катакомбах, глубоко под землей, вдали от выхода на поверхность неожиданно сталкиваются две группы партизан, действовавших там независимо друг от друга. У каждой из этих групп возникает опасение, что их выследил враг.

Но вот как это выяснить?

И тогда в "ничейной" части катакомб, в мрачной и просторной пещере, откуда во все стороны расходятся штольни, подпольщики на толстом слое пыли под скупым светом

самодельного факела пишут слово, на которое как-то должны будут отреагировать опасные незнакомцы. По реакции легко можно будет понять - свой это или враги.

И что же это за слово?

Слово - "кат".

В романе выбор именно этого коротенького странного словца, имеющего в древне русском несколько значений, в том числе "палач", как-то обосновывался.

Командир отряда, придумывая пароль, произносит внутренний монолог - лекцию по этимологии выбранного слова, однако мне, читателю, все доводы поначалу казались неубедительными. Эпизод задел меня за живое, даже можно сказать рассердил. Обычный авторский произвол. Волюнтаризм.

И лишь сравнительно недавно меня осенило - да ведь это слово, корневое от нашей фамилии, вырвалось у отца из самых глубин сознания.

Или даже - подсознания...

Власть над отцом бессознательного проявилось и в самом замысле романа, действие которого протекает в замкнутом пространстве мрачных подземных лабиринтов.

Сначала партизаны вынуждены скрываться в штольнях и пещерах каменоломен под Одессой из-за того, что город оккупирован фашистами, объявившими партизанам войну не на жизнь, а на смерть.

Наружу не высунуться: каждая вылазка в город чревата гибелью.

Но и в самой последней, заключительной стадии борьбы партизаны столкнулись с непреодолимым препятствием - физической невозможностью выбраться на поверхность, ибо многие штольни взорваны, а все известные выходы из катакомб завалены и заминированы.

И все же им удается вырваться из лабиринта.

Они оказываются на выступе скалы над морем, овеваемые свежим морским ветром и освещенные солнцем - живые и свободные.

И звучит фраза, которую произносит один из персонажей романа, но которая в действительности также вырывается из глубин авторского подсознания:

- Я же говорил, что мы бессмертны!

Позволю себе высказать еще одно соображение, связанное с упомянутым романом.

Помню, меня несколько смутило его название - "За власть советов".

Оно показалось мне совсем не точным.

Лучше было бы, если бы отец назвал его как-нибудь иначе. Ну, например, "За Родину, за Сталина".

Все-таки, говоря откровенно, власть была не у Советов, а у Сталина и других вождей. Так что название "За власть советов" немножечко принижало значение борьбы с немецкими фашистами, которые вели Петр Васильевич Бачей и его сын пионер Петя, случайно оказавшиеся в одесских катакомбах.

А уж теперь-то я точно знаю, что никогда у Советов никакой власти и не было.

У партии, у органов - да, а у Советов - нет.

В составе тетралогии этот роман, сильно сокращенный, получил новое название - "Катакомбы", то есть название приблизилось к самому первому - "Одесские катакомбы".

Сейчас, размышляя над возней с названием, я прихожу к выводу, что связанный с романом скандал вызван недовольством идеологического начальства именно неудачными названиями - и первоначально данным роману его автором и вторым, измененным по требованию того же начальства но не вполне политически внятным.

- Советские редакторы любят менять названия произведений, - повторял отец, имея в виду, наверное, и историю со своим романом "За власть советов".

(Я не был редактором, но поменять название тоже хотел...)

Он отлично понимал, что победоносно бороться с этим было невозможно, как со стихией.

Кстати сказать, и с названием второй части тетралогии "Волны черного моря" - "Зимний ветер" не все было благополучно. По своему обыкновению отец хотел назвать эту вещь "Черный ветер" - стихотворной строкой из поэмы Александра Блока "Двенадцать".

Помните?

Черный ветер

Белый снег...

Неизвестно, почему этого не произошло, можно только лишь строить догадки...

А во что и как отец одевался?

В семейном архиве сохранилась старая, чуть ли еще ни первых после военных лет фотография, на которой отец сидит в траве под сосной на нашем дачном участке в Переделкине, а рядом с ним мы, его дети - старшая сестра Женя стоит с котенком в руках и я сижу у отца под боком.

Женя - в коротеньком летнем платьице, я - голышом в черных трусах до колен.

А вот наш папа - в удивительном наряде.

На голове монгольский национальный головной убор, по очертания напоминающий буденовку, только понарядней - твердый, прошитый цветными нитями.

Сам же отец запахнут в длинный со стоячим низеньким воротником парчовый халат до пят, на ногах - национальные сапоги, жесткие, расшитые шелковыми узорами и с загнутыми вверх мысами.

Крепкие, изящные папины пальцы, выглядывающие из широкого рукава, сжимают длинный в узорах мундштук узкой монгольской трубки.

Недавно отец вернулся из поездки в Монголию и оттуда привез подаренный ему руководителем страны маршалом Чайбалсаном (на всю жизнь запомнил странную фамилию) национальный наряд, в котором и решил позировать фотографу.

Это был, кажется, корреспондент из Москвы.

На фотографии лицо у отца темное, светятся белки глаз.

В странном одеянии он и сам кажется странным, чужим, каким-то восточным. (Он рассказывал, что в гимназии у него было прозвище "китаец").

Позже отец весело вспоминал разные эпизоды посещения далекой страны, в частности бесконечные пиры и утренние пробуждения, когда в комнату входил маршал с бутылкой советского шампанского и тут же предлагал выпить за дружбу.

Небольшого размера старая фотография.

Русский человек в подмосковном летнем лесу в диковинном наряде. Причуда, да и только. А вот и нет! Поездка в Монголию, где отец волей случая побывал сразу же после войны, задела его душу вовсе не пирами и утренними опохмелками в гостевых правительственных юртах, а чем-то значительно более важным, глубинным, что нашло отражением в его будущем творчестве, в "новой прозе".

Буддийские храмы, древности, кровавые революционные легенды.

Много лет спустя, в конце шестидесятых мне посчастливилось побывать с отцом в Улан-Баторе, где в местном историческом музее отец обратил мое внимание на удивительный, "людоедский" экспонат - засохший комочек человеческого сердца, вырванного из груди поверженного врага и привязанного лентой к древку революционного знамени.

Волнующе описаны религиозные ритуалы в буддийском храме и дворец Богдагегена в повести "Святой колодец".

Там же, в суровой и таинственной Монголии творил свои кровавые дела советский чекист - один из персонажей рассказа

"Уже написан Вертер".

Продолжу тему одежды.

Как-то отцу сшили (по его выражению "построили") прекрасный вечерний костюм цвета маренго для разных торжественных случаев, в частности, посещений посольских приемов и различных важных заседаний.

Ему очень шел этот костюм.

Белая рубашка, отлично повязанный (мной!) галстук, платок в наружном кармане хорошо сидящего пиджака, черные удобные полуботинки...

Нет, насчет галстука - вру!

Вспоминаю, отец на самом деле не умел и не любил хорошо завязывать галстуки и даже этим несколько бравировал, утверждая, что это его особенность. Но, с другой стороны, он позволял мне завязывать ему галстук, если я очень наседал...

Отец был строен, моложав, обрызган английской туалетной водой "Аткинсон" из большого квадратного флакона.

На лице - добрая и чуть ироничная по собственному адресу улыбка.

Можно и в путь!

Но костюму не повезло.

Не прошло и года со времени его постройки, как отца награждают званием героя социалистического труда и вызывают в Кремль получать заслуженную награду.

И там, в Кремле Председатель президиума верховного совета СССР (президент) с улыбкой воодушевления и радости прокалывает шилом (очевидно специально для этого существующим) щедрую дыру в грудной части пиджака, внедряет туда ножку золотой звезды и завинчивает с изнанки специальным кружочком.

Теперь костюм безнадежно и навеки испорчен.

Без звезды не пойдешь - дырочка заметна, не заделать.

А свои многочисленные награды отец никогда не носил.

Чувствовалось, что отец раздосадован, но досаду он пытался не показывать, "замазать" неприятный осадок веселым рассказом о происходившем в Кремле.

Председатель президиума, сделав свое черное дело, предложил отцу и другим награжденным сфотографироваться на память - мы, мол, со всеми награжденными снимаемся.

Подозвали фотографа.

Сфотографировались.

- А вы не прогорите? - спросил отец Председателя.

- Не прогорим! - бодро ответил тот. - Контора надежная!

Отметим, что вскоре Председатель был отправлен в

отставку.

Для первого ордена, который вручал отцу всероссийский староста в сороковом году, дырку не проделывали - обошлись уже готовой петличкой в лацкане пиджака.

Существует соответствующая фотография: Михаил Иванович Калинин одной рукой пожимает руку отца а другой протягивает коробочку с орденом Ленина.

Оба улыбаются.

Упомянул об этом факте не в связи с темой "как отец одевался", а по другому поводу.

Дело в том, что Калинин возглавлял совет народных депутатов, то есть являлся главой советской власти, той именно власти, за которую сражались герои романа "За власть советов".

А где же Сталин?

Не слишком ли низок уровень воспеваемой произведением писателя Валентина Катаева власти, за которую ведут борьбу советские патриоты в одесских катакомбах?

С другой стороны, формально - комар носу не подточит.

Но все же, главная одежда отца - та, удобная и уютная, так сказать, повседневная, в которой он из года в год, из десятилетия в десятилетие сидел за своим рабочим столом и работал.

Вязанные свитера, как правило бежевые, серые фланелевые брюки, просторная и теплая клетчатая рубаха навыпуск ковбойской расцветки. В этой одежде отец чувствовал себя хорошо и спокойно, и напоминал мне рабочего человека высокой квалификации - может быть столяра, или часовых дел мастера, особенно когда склонялся над книгой или рукописью с лупой, точно пытаясь разгадать устройство какого-то мельчайшего механизма.

Из телевизионных передач отец, помимо "новостных", любил музыкальные передачи и особенно прямые трансляции из концертных залов, в частности из московской консерватории, которые бывали довольно редко, но зато очень высокого качества.

Разумеется передавалось огромное количество разной муры, и ее тоже "приходилось" смотреть.

Иногда что-то увиденное на экране вызывало у отца ироническую улыбку, и он делал какое-то смешное замечание.

Хотелось бы собрать все папины шутки и привести их полностью, да куда там!

Когда нужно - их и не вспомнишь.

Они сами по себе самостоятельно влетают вдруг в память, радуют, заставляют улыбнуться или даже расхохотаться и растворяются в бесконечности.

Одну сейчас вспомнил.

По телевизору исполняется известный романс Чайковского "Средь шумного бала" на слова Алексея Константиновича Толстого.

Исполнитель поет, старается.

Доходит дело до слов:

В часы одинокие ночи

Люблю я усталый прилечь...

У отца на губах появляется знакомая ироническая улыбка, он оборачивается ко мне и весело восклицает:

- Ишь ты! Прилечь, видите ли, любит.

И добавляет: вместо того, мол, чтобы спать по ночам, как все люди, господин, возвратившись усталый среди ночи откуда-нибудь с бала, укладывается вздремнуть прямо в прихожей.

Романс и сейчас частенько продолжает звучать, и две злополучные строчки, выхваченные отцом из романса, вызывают все тот же образ усталого господина во фраке с хризантемой в петличке, скромно улегшегося на кушетку и уютно подложившего под щеку две сложенные ладошки.

И все же мне хочется вернуться к разговору о второй и третьей частях тетралогии "Волны черного моря", потому что они содержат много интереснейших фактов из детства и ранней молодости отца.

В романах "Хуторок в степи" и "Зимний ветер" биографические факты вправлены в беллетристическую форму.

Попробую вызволить их из плена, чтобы легче было соотнести с реальной судьбой живого автора, то есть моего отца.

В первом из названных романов повествуется, в частности, о путешествии заграницу, предпринятом учителем одесской гимназии Петром Васильевичем Бачеем и его сыновьями Петей и Павликом.

Греция, Италия, Швейцария...

При чтении романа самое сильное впечатление производили не описания стран и их туристических достопримечательностей, а удивительная легкость, с которой в царской России, в Одессе с помощью домашней кухарки и городового "выправляются" паспорта, открывающие беспрепятственный выезд из родной страны в любую часть света.

Были бы деньги.

Семейная легенда гласит (это уже не из книги, а из настоящей жизни), что папины родители, поженившись, договорились когда-нибудь потом, с детьми, которые у них обязательно появятся, совершить большое заграничное путешествие и для этой цели накопить необходимую сумму.

Судьба распорядилась иначе.

Папина мама умерла через несколько месяцев после рождения второго сына, оставив его и шестилетнего старшего брата с овдовевшим отцом.

Прошли годы, мальчик поросли, и отец решил осуществить план, задуманный в счастливые минуты супружеской жизни.

В семейном архиве сохранилась фотография, на которой изображены три путешественника из России на горной тропе в Швейцарских Альпах. Бородатый интеллигент в пенсне и рядом с ним два мальчика, один из которых, в романтической накидке мечтательно опирается на длинный альпеншток. Это и есть мой отец.

Так вот, в романе "Хуторок в степи" можно найти описание итальянского острова Капри, где оказались наши путешественники и где они встретились с буревестником революции Максимом Горьким.

Такой встречи, разумеется, на самом деле не было. Она потребовалась автору для определенных беллетристических нужд.

Но отец все-таки встречался с Горьким там же, на Капри много лет спустя и воспользовался достоверным материалом, сместив его во времени.

Много лет спустя отец вспомнит свое пребывание на Капри в очерке, посвященном Горькому, гостеприимному хозяину и блестящему рассказчику.

Непроизвольно щемящее чувство возникает во время чтения страниц, повествующих о возвращении на родину - из процветающей чистенькой заграницы в "немытую" Россию.

Более значительные эпизоды отцовской биографии используются в третьей части тетралогии, в романе "Зимний ветер", где главный герой Петя Бачей, ставший уже вполне взрослым молодым человеком отправляется вольноопределяющимся на фронт, участвует в боях первой мировой войны, получает контузию и ранение, которое по чистой случайности не убивает или калечит его.

Само собой разумеется, я неоднократно видел след этого ранения.

Две давно уже заживших, но навсегда оставшихся глубокими "вмятины" от влетевшего и вылетевшего осколка в верхней части правого бедра в опасной близости от детородного органа.

(Не знаю, как мне так спокойно удалось написать эти слова).

Рассказывая о своем ранении и показывая его, отец вовсе не

драматизировал ситуацию, то есть относился к происшедшему с полным спокойствием, словно бы верил в свою неуязвимость.

Приблизительно также спокойно за свою жизнь, хотя и с нескрываемым восхищением работой хирурга он рассказывал о тяжелой операции, которую пережил на пороге старости.

Раковую опухоль вырезали, но возникла проблема - хватит ли оставшейся здоровой ткани для того, чтобы шов не разошелся.

Ткани хватило.

Отец в лицах передавал разговор двух хирургов, спорящих по его поводу: расползется шов или не расползется. И восторгался филигранной работой оперирующего хирурга, решительной и умелой женщины, участницы войны, которая осталась его доброй знакомой до конца жизни.

Шов не располз.

Хотелось бы полистать, поизучать записные книжки, куда бы отец заносил свои наблюдения, сюжеты произведений и так далее.

Увы, таких книжек у отца нет.

Отец говорил, что время от времени пытался завести записную книжку, как это подобает но всякий раз у него не получалось. И он эту затею оставил.

Последние двадцать лет жизни он регулярно делал записи в дневнике. Итальянская переводчица как-то подарила ему специальную книжку, рассчитанную на весь год, с первого января до тридцать первого декабря. Книжка была очень красивая, в малиновой кожаной обложке и чуть ли не с золотым обрезом.

Не хочешь, в будешь писать!

Книжка называлась Agenda.

Каждый год у него появлялась книжка с таким названием, иногда присланная из Италии, иногда из Франции от преподавательницы русского языка в парижском лицее, выпускницы Сорбонны, которая защищала диссертацию по творчеству отца, для чего приехала как-то с визитом в Переделкино и с тех пор осталась другом дома.

Бывали случаи, когда на один и тот же год у отца на столе оказывалось две таких книжки, и обе его не устраивали.

Дело в том, что требовались книжки со страничками не разграфленными вертикальными полосками, а чистыми, в крайнем случае просто спокойно разлинованными. Иногда требуемого дневника так и не удавалось достать, и отец вынужден был заполнять разграфленные странички.

По почерку можно заметить наличие некоего раздражения...

Об этих дневниковых записях - особый разговор.

Как-нибудь потом, когда они будут тщательно изучены и осознаны.

Могу только сказать, что последние годы, когда отец чувствовал себя плохо и жить ему из-за проблем со здоровьем становилось труднее и труднее, каждую запись он заканчивал одним словом "живу..."

Но еще до появления книжек-дневников отцу как-то подарили очень красивую тетрадь для записей из прибалтийской республики - кожаная бежевая обложка со своеобразным национальным узором.

В это время как раз родители оправлялись в морской круиз вокруг Европы, и отец взял с собой эту тетрадь, чтобы делать в ней всякие путевые заметки.

Помню он именно так сказал, по обыкновению с долей иронии, с удовольствием поглаживая кожаную обложку тетради и затем укладывая ее в чемодан.

Действительно, во время путешествия он ежедневно делал какие-то короткие заметки, главным образом сухо излагая маршруты перемещений. Записи заняли совсем мало места в достаточно толстой тетради, но при этом некоторые из них были очень глубокие и заставляли глубоко задуматься.

Особенно реакция отца на венгерские события (дело происходило в 1956 году, в начале хрущевской оттепели).

Несколько фраз показали душевную подавленность, и видно было, что конец путешествия безнадежно испорчен.

Описывая румынский порт Констанцу, темный и обшарпанный, отец отметил вызываемое им ощущение "мерзости запустения".

В коротких записях все-таки промелькнула тема нового произведения, которая родилась во время морского круиза и над которой отец размышлял после этого долгие годы. Но так и не осуществил.

Эта тема - "Огни Лиссабона".

В ночи, проплывая по Бискайскому заливу мимо таинственных берегов непонятной и недоступной Португалии, отец увидел слабое зарево во тьме, и моряк, к которому он обратился, сказал, что это "Огни Лиссабона".

Там была тайна, и ее так хотелось разгадать!

Рассказывая о круизе, отец вспоминал всяческие забавные наблюдения и происшествия.

Самой смешной и одновременно грустной оказалась история, которая случилась с ними в Париже, куда их привезли ночным поездом из Марселя на трехдневную прогулку.

Париж.

Может быть именно этот город был главной и тайной целью поездки родителей в круиз вокруг Европы.

В Париже родилась моя мама, затем после начала первой мировой войны ее родители переехали в Лондон, и уже оттуда после великой октябрьской революции - не сразу, разумеется, - всей семьей вернулись в советскую Россию.

С тех пор до нынешнего, 1956 года ни моей маме, ни двум ее сестрам - старшей и младшей, ни их родителям не представлялось возможности вернуться в Европу.

Хотя бы на время.

Особых объяснений сей факт не требует.

Впрочем, в самые первые годы после возвращения семьи в страну победившей революции, когда ошибочность этого поступка стала очевидной, три девочки со своей мамой имели возможность снова оказаться в Англии (или во Франции). Проблема заключалась в том, что в Европу путь был заказан их отцу, революционеру-бундовцу, врагу мирового капитала. Моей бабушке предлагали уехать с дочерьми и там дожидаться воссоединения со своим оставшимся в Советской России мужем. В такой ситуации - жена с детьми там, а муж здесь - проблема снималась. Но дедушка был человеком больным, сердечником, и бабушка не рискнула оставлять его одного, даже на короткое время.

Таким образом клетка захлопнулась.

И вот - круиз вокруг Европы с заездом в Париж.

У родителей забрезжила возможность побывать в городе, где появилась на свет мама.

Получится ли?

При заполнении анкет самую большую тревогу у родителей вызывал не столько мамин "пятый пункт", как место ее рождения. Начальство могло "подумать", что мама воспользуется такой прекрасной зацепкой и "останется". Да еще и мужа с собой потащит. За маму "поручился" знакомый родителей, некогда знаменитый комсомольский поэт а сейчас - уважаемый и авторитетный член партийного комитета.

Родителей выпустили...

Им удалось "отколоться" от группы.

Вдвоем, взявшись за руки, родители бродили по Парижу, отец показывал маме ее город.

Они побывали на улице Риволи, в беднейшем северо-восточном конце, которая значилась в маминой метрике, как место ее рождения в Париже.

Бульвары Монпарнас и Распай, Елисейские поля...

Это уже места, хорошо знакомые отцу по посещению

Парижа в начале тридцатых годов, молодым и известным советским писателем, автором знаменитых "Растратчиков", переведенных на французский язык и выпущенных издательством Галлимар, а так же широко идущей в Европе и приносящей большие авторские комедии "Квадратура круга".

Все это было давным-давно, в другой жизни.

Отец говорил, что ноги у них от усталости гудели, и они решили, наконец, "как люди" сесть за столик в бистро, выпить по чашечке кофе, выкурить хорошую американскую сигарету.

Последнее относилось к маме. Тогда еще, в отличие от отца, она не бросила курить и дымила, как паровоз.

Но тут она уже давно не курила, и ей не терпелось поскорее усесться в кафе и открыть пачку американских сигарет Винстон, которые им удалось купить в какой-то дешевой лавочке буквально за гроши.

К нормальному табачному киоску с их грошами они и приблизиться не могли. А так они сэкономили даже на две чашки кофе.

И вот наконец они уселись за столик, гарсон поставил перед ними по чашечке вожделенного кофе, мама аккуратно вскрыла пачку сигарет и - о ужас - сигареты оказались не настоящими, а сделанными из шоколада.

То есть это была пачка конфет, загримированная под дорогие американские сигареты.

Когда папа во всех подробностях, с интригующими паузами и с восторженным ожиданием на лице нашей реакции на финал излагал сию печальную и трогательную историю, по маминому лицу пробегали все оттенки переживаний.

Но все же родители были счастливы, что замысел с посещением Парижа увенчался успехом, и в их жизни наступил какой-то новый этап.

Следует добавить, что в то время, как родители выкраивали сантимы для пачки сигарет и двух чашечек кофе, на счету отца в Обществе драматических авторов в Париже лежали довольно крупные по тем временам авторские отчисления за исполнение его произведений заграницей.

Некогда, будучи заграницей и оформляя соответствующие денежные документы для получения гонорара, отец вступил в общество драматических авторов, не придав этому факту значения. Но всяческие связи были оборваны, забыты, и тогда отцу и в голову не приходило, что у него за границей есть валюта.

Времена снова изменились, и в следующую поездку во Францию отца нашел представитель упомянутого общества и выдал некую сумму во франках, которая значительно превышала

стоимость двух чашечек кофе и шоколадных сигарет.

Такое положение длилось недолго.

И виной этому был тогдашний президент Франции генерал Шарль де Голль.

О его остроумии, кстати сказать, отец после одного из посещений Парижа привез такое свидетельство.

Однажды де Голль пригласил к себе в ложу в Гранд Опера, где, кстати сказать, потолок (называемым плафоном) был расписан великим художником Марком Шагалом, советского посла. Сидят они, беседуют, и советский посол, чтобы подчеркнуть близость культур двух великих держав, говорит:

- Обратите внимание, господин Президент, что плафон Град Опера расписан художником из России.

- Я хожу в оперу не для того, чтобы глядеть в потолок, - холодно ответил генерал.

Так вот, отношения де Голля и нашей страны были так хороши, что в Советском Союзе как-то перевели и издали его книгу. Советский посол воспользовался этим фактом, чтобы вручить Президенту авторский экземпляр его книги на русском языке.

Де Голль с интересом и благодарностью принял книгу, повертел ее в руках и, передавая своему помощнику, распорядился, чтобы гонорар за нее был по обыкновению переведен на счет благотворительного фонда в пользу больных детей.

- Никакого гонорара нет, - возразил помощник. - Советский Союз не платит иностранным авторам.

- А Франция платит советским авторам? - поинтересовался генерал.

- Разумеется, господин генерал.

- В таком случае Франция также прекращает платить гонорары советским авторам, - заявил Президент, и счета советских авторов во французских банках, в том числе, и отца, были заморожены.

Книжка об отце заканчивается.

Был ли он доволен собой, своей судьбой, своим творчеством?

На три этих вопроса, самых, пожалуй, главных в жизни человека, и отец-то вряд ли смог бы ответить.

А уж я тем более не смогу.

- Я - средний русский писатель.

Фразу, звучащую, как формула, я слышал из его уст в течение многих лет, и теперь понимаю, что он защищался этой

фразой от несправедливых наскоков критики, которую ни в грош не ставил, и от неумеренных восторгов почитателей.

В этом он был глубоко уверен, и никто не смог бы заставить его изменить столь высокую оценку, данную самому себе.

Отец утверждал, что никогда не перечитывает своих произведений, и это было правдой.

Он время от времени раскрывал свои книги, но не мог осилить и нескольких страниц, потому что жил уже в атмосфере нового замысла, совсем, совсем другого.

Он утверждал, что для каждого следующего произведения создает новый строительный материал, а не пользуется кирпичами, приготовленными для предыдущих вещей.

Но когда он читал только что написанные страницы, чувствовалось, что они ему нравятся.

И все же мне кажется, что порой он испытывал чувство мучительной неудовлетворенности, ставшей, возможно, навязчивой идеей, заставившей его в последние годы, или даже месяцы жизни приступить к переработке своей пьесы "Растратчики", которая в свое время, более полувека назад была написана по предложению Художественного театра, поставлена на его сцене и затем после восемнадцати представлений исчезнувшая из репертуара.

Отец не распространялся об этой своей работе...

Часто я заставал его согнувшимся над столом, но он или не замечал присутствия постороннего или же бросал мельком взгляд и снова углублялся в рукопись, хотя частенько в подобных случаях с удовольствием отвлекался, заявляя:

- Русские писатели любят, когда их отвлекают от работы!

Он закончил этот тяжелый труд, но кто знает - дал ли ему результат удовлетворения, успокоил ли его.

Отец утверждал, что каждое свое произведение переписывает по три раза.

Думаю, такая практика началась со времени так называемого "нового Катаева", то есть с "Маленькой железной двери в стене" и "Святого колодца" и далее до последней его работы - "Сухой лиман".

Все три рукописи одного и того же произведения разительно отличались друг от друга.

Самая первая - черновая - была испещрена поправками, вымаранными отдельными словами и целыми предложениями, крест накрест перечеркнутыми абзацами, а иногда и целыми страницами.

Вторая рукопись выглядела гораздо лучше - аккуратные

строки, почти без помарок - хоть отдавай машинистке.

Отец, однако, не успокаивался и переписывал рукопись еще один раз, третий.

И этот, третий, вариант совсем уже не походил на два предыдущих. Между абзацами появлялись просветы, и рукопись от этого становилась словно бы прозрачной. Одни абзацы были поуже, другие пошире. Иногда коротка фраза из двух трех - слов, занимающая пол строки или еще короче, отделялась сверху и снизу полновесным просветом.

На этом этапе работы над новым своим сочинением (третья рукопись) на мой вопрос, что он сейчас делает, отец озорно улыбался, прикладывал ко рту две сложенные ладони и с шумом выдувал воздух, словно бы наполняя невидимый воздушный шарик...

Мальчишка, да и только!

"Живу..."

Таково последнее слово в его земной жизни, написанное писателем Валентином Катаевым в дневнике.

После этого было еще полтора месяца страданий в больничной палате, желания выбраться оттуда.

Через несколько дней после начала болезни, когда нам, его жене и детям, позволили навестить отца, мы принесли в палату несколько букетов цветов.

Это были очень хорошие, сильно пахнущие розы - крупные и мясистые.

Отец повел глазами, слабо иронически улыбнулся и проговорил:

- Как на похоронах.

Прошел месяц.

Состояние его, как говорится, стабилизировалось и больничная палата стала тяготить его.

Последние слова, сказанные мне, были такие:

- Обещай мне, что ты меня увезешь домой.

Он крепко держал мое запястье своей такой родной прекрасной рукой и лицо выражало уверенность, что уж сын-то не подведет. Но эта безоглядная уверенность говорила о том, что уже ничего не осталось, кроме последней, самой последней надежды.

Выйдя из палаты, я направился к врачу и тот заверил меня, что в понедельник (дело было в пятницу) отца отпустят домой.

До возвращения домой ему нужно было продержаться двое суток. Не случилось.

В субботу отца не стало.

Постоянно думаю о нем, размышляю, восхищаюсь и вместо того, чтобы раз и навсегда попрощаться, повторяю: - Привет, папа...

Москва - Отепя - Москва

Весна - лето 2002 г.